

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://tsvetaevamarina.ru/> Приятного чтения!

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева

Дорогому другу Е. А. И. – запоздалый свадебный подарок М.Ц.

1. Уничтожение ценностей

Уезжала моя приятельница в дальний путь, замуж за море. Целые дни и вечера рвали с ней и жгли, днем рвали, вечером жгли, тонны писем и рукописей. Беловики писем. Черновики рукописей. “Это беречь?” – “Нет, жечь”. – “Это жечь?” – “Нет, беречь”. “Жечь”, естественно, принадлежало ей, “беречь” – мне, – ведь уезжала она. Когда самой не жглось, давала мне. Тогда защитник становился исполнителем приговора.

Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло!

Глянь-ка на небо:

Птички летят!

Небо – черный свод камина, птички – черные лохмы истлевшей бумаги. Адовы птички. Небосвод, в аду, огнесвод.

Трещит очередной комок довоенной, что то же – навечной: и огонь не берет! – прохладной, как холст, скрипучей, как шелк, бумаги в кулаке, сначала в кулаке, потом в огне, еще выше растет, еще ниже оседает над и под каминной решеткой лохматая гора пепла.

– А какая разница: пепел и зола? Что чище? Что (сравнительная степень) последнее?

– Пепел, конечно, – золой еще удобряют.

– Так из этого, видите, черное? и видите, серое? что – пепел? и что – зола?

В горсти, черным по белому пустого бланка, – “Министерство иностранных дел”.

– Мы с вами сейчас министерство не иностранных дел, а – внутренних.

– Не иностранных, а огненных! А еще помните в Москве: огневая сушка Прохоровых?

Суши, суши сухо,
Чтобы не потухло!

Рвем. Жжем. Все круче комки, все шибче швырки, диалог усыхает. Беречь? Жечь? Знаю, что мое беречь уже пустая примолвка губ, знаю, что сожгу, жгу, не дождавшись: жечь! Что это я, ее или свое, ее или себя – жгу? И – кто замуж выходит за море? Через красное море сожженного, сжигаемого, – сожженным быть – должного. Тихий океан – что? Canadian Pacific?

С места не встав:

– Вы к жениху через огненное море едете!

“Когда ее подруги выходили замуж, она оплакивала их в свадебных песнях” – так я впервые услышала о той, первой, от своего первого взрослого друга, переводчика Гераклита – рекшего: “в начале был огонь”.

Брак – огонь – подруга – песня – было – будет – будет – будет.

Рраз! как по команде, поворот всего тела и даже кресла:

замечтавшись, вовремя не отвела колен. Руки знали свое, ноги – забыли, и вот, ошпаренная огнем, принимаюсь, прожгла или нет то, что дороже кожи!

Папки, ящики, корзины, портфели, плакары, полки. Ключья, ключья, ключья, ключья, ключья. Сначала белые, потом черные. Посередке решетки кавказское, с чернью, серебро: зола.

Брала истлевшие листья
И странно так на них глядела,

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело.
Тело писателя-рукописи. Горят годы работы. Та только письма – чужое остывшее сердце, мы – рукописи, восемнадцатилетний труд своих рук – жжем!

Но – то ли германское воспитание, то ли советское – чего не могу жечь, так это – белой бумаги. Чтобы понять (меня другому), нужно только этому другому себе представить, что эта бумажка – денежный знак. И дарю я белую бумагу так же скрепя сердце, как иные-деньги. Точно не тетрадку дарю, а все в ней написавшееся бы. Точно не пустую тетрадку дарю, а полную – бросаю в огонь! Точно именно от этой тетрадки зависела – никогда уже не имеющая быть – вещь. “Вот деньги, походи и купи себе, а мою не трогай!” – под этот припев выросла моя дочь и вырастет сын. Впрочем, голод на белую бумагу у меня до-германский и до-советский: все мое детство, до-школьное, до-семилетнее, все мое младенчество – сплошной крик о белой бумаге. Утаенный крик. Больше взгляд, чем крик. Почему не давали? Потому что мать, музыкантша, хотела и меня такой же. Потому что считалось (шесть лет!), что я пишу плохо – “и Пушкин писал вольными размерами, но у нее же никакого размера нет!” (NB! не предвосхищение ли всей эмигрантской критики?)

Круглый стол. Семейный круг. На синем сервизном блюде воскресные пирожки от Бартельса. По одному на каждого.

– Дети: берите же!

Хочу безе и беру эклер. Смущенная яснозрящим взглядом матери, опускаю глаза и совсем проваливаю их, при:

Ты лети, мой конь ретивый,
Чрез моря и чрез луга
И, потряхивая гривой,
Отнеси меня туда!

– Куда – туда? – Смеются: мать (торжествующе: не выйдет из меня поэта!), отец (добродушно), репетитор брата, студент-уралец (го-го-го!), смеется на два года старший брат (вслед за репетитором) и на два года младшая сестра (вслед за матерью); не смеется только старшая сестра, семнадцатилетняя институтка Валерия – в пику мачехе (моей матери). А я – я, красная, как пион, оглушенная и ослепленная ударившей и забившейся в висках кровью, сквозь закипающие, еще не проливающиеся слезы – сначала молчу, потом – ору:

– Туда – далёко! Туда – туда! И очень стыдно воровать мою тетрадку и потом смеяться! ,

(Кстати, приведенный отрывок, явно, отзвук пушкинского:

“Что ты ржешь, мой конь ретивый”, с несомненным – моря и луга – копытным следом ершовского Конька-Горбунка. Что в нем мое? Туда.)

А вот образец безразмерных стихов:

Она ушла, бросая мне холодный взгляд,
Ни слезы не пролила. О я несчастный,
Что верил я пустым ее словам!
Она так сладостно смеялась,
Она так нежно говорила, что я тебя люблю.
Ее голосок звучал так звонко,
Так нежно звучал ее голосок.
Кто бы сказал, что она не исполнит
Сердца заветный зарок?
Да, ока мне обещала
Меня одного любить,
А на другого променяла.
Так ли должно было быть?
А это – откуда? Смесь раннего Пушкина и фельетона – как сейчас вижу на черном зеркале рояля – газеты “Курьер”.

Из-за таких стихов (мать, кроме всего, ужасалась содержанию, почти неизменно любовному) и не давали (бумаги). Не будет бумаги – не будет писать. Главное же – то, что я потом делала с собой всю жизнь – не давали потому, что очень хотелось.

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru Как колбасы, на которую стоило нам только взглянуть, чтобы заведомо не получить. Права на просьбу в нашем доме не было. Даже на просьбу глаз. Никогда не забуду, впрочем, единственного – потому и не забыла! – небывалого случая просьбы моей четырехлетней сестры – матери, печатными буквами во весь лист рисовальной тетради (рисовать – дозволялось): “мама! Сухих плодов пожалуста!” – просьбы, безмолвно подsunутой ей под дверь запертого кабинета. Умиленная то ли орфографией, то ли карамзинским звучанием (сухие плоды), то ли точностью перевода с французского (fruits secs), а скорее всего не умиленная, а потрясенная неслыханностью дерзания, – как-то сробевши – мать – “плоды” – дала. И дала не только просительнице (любимице, Nesthackerchen[1]), но всем: нелюбимице – мне и лодырю-брату. Как сейчас помню: сухие груши. По половинке (половинки) на жаждущего (un quart de poire pour la soif[2]).

Моя мать умерла в моем нынешнем возрасте. Узнаю, во всем, кроме чужих просьб, – ее в себе, в каждом движении души и руки. Так же хочу, чтобы дочь была поэтом, а не художником (мать – музыкантом, а не поэтом), так же всего требую от своих и ничего от чужих, так же – если бы я была книга, все строки бы совпадали.

Не могу не закончить заключительным (трагическим!) стихотворением моей детской тетради. Рисунок: я за письменным столом. Лицо – луна, в руке перо (гусиное) – и не перо, а целое крыло! – линия стола под самым подбородком, зато из-под стола аистовой длины и тонизны ноги в козловых (реализм!) сапогах с ушами. Под рисунком подпись: “Марина Цветаева за сочиненьями”.

Конец моим милым сочиненьям
Едва ли снова их начну
Я буду помнить их с забвеньем
Я их люблю
– Вы никогда не писали плохих стихов?

– Нет, писала, только – всё мои плохие стихи написаны в дошкольном возрасте.

Плохие стихи – ведь это корь. Лучше отболеть в младенчестве.

Пустая тетрадь! Оду пустой тетради! Белый лист без ничего еще, с еще – уже – всем!

Есть у немцев слово Scheu, с частым эпитетом heilige – вроде священного трепета – непере译имое. Так именно эту священную Scheu я по сей день испытываю при виде пустого листа. – Несмотря на пуды исписанных? – Да. – С каждой новой тетрадью – я заново. Будет тетрадь – будут стихи. Мало того, каждая еще пустая тетрадь – живой укор, больше: приказ. (Я-то – есть, а ты?) Хотите больших вещей – дарите большие тетради.

Но – бумажный голод младенчества! – по сей день не решаюсь писать в красивых, кожаных и цветочных, даримых знакомыми для “черновиков”. (Свои-то – знают!) Сколько у меня их, одних пражских, по старинным образцам, из драгоценной, с рваным краем, бумаги.

Первое чувство: недостойна! Второе: в такой тетради ничего не напишу, – страх дурного глаза, паралича роскоши; третье, уже вполне мысленное: писать в сафьяне то же самое, что пахать в атласе – не дело, игра в дело, дилетантизм, безвкусице.

(Пари держу, что большинство плохих стихов написаны в сафьяновых тетрадях, купленных – имущественное положение ни при чем – может быть, на последние деньги, равно как и персидский халат, в котором это священнодействие совершается – чтобы хоть чем-нибудь восполнить сплошную прореху дара. А Пушкин писал в бане, на некрашеном столе. – Да. – И исписанные листы швырял под стол. Но – будь у вас и баня и некрашеный стол, под который швырять, – и это не поможет. Придет Время и сметет метлой.)

Словом, либо сафьян – либо я. Тот же отскок, что – от ни разу не надетых и еще до Революции неизвестно куда девавшихся бриллиантов. Так и лежат (сафьяны) в ожидании дня, когда я буду не я. А стопа синих, конторских, весом в пуд – растет. В России, до Революции, у меня были почтальонские, из сурового холста, с завязками (для расписок). В Революцию – самосшивные, из краденой (со службы) бумаги, красным английским чернилом – тоже краденым.

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Не знаю, как другие пишущие, – меня советский бумажный голод не потряс: как в младенчество: вождела – и воровала.

Но – из колыбели в горящий камин (именно в). В начале сожжения – ожесточенный торг.

– Как – это – жечь?

– Ну, конечно: первый черновик перевода “Обломова”!

– Да я не о написанном, я о белой бумаге говорю!

– На что она вам?

Я, по кратчайшей правдоподобия:

– Рисовать – Муру.

Словом, к стыду – или не к стыду? – пишущего в себе, не рукописи выручала – руками – из огня, а белую бумагу. Возможность рукописи.

Сначала, приятельница, принимая за шутку, оспаривала, но поняв наконец – по непривычной грубости моих интонаций:

“Сожгли?!”, что никакой тут игры нет – присмирив – и из деликатности не выясняя – покорно стала откладывать в мою сторону все более или менее белое.

– Жечь. Жечь. А вот это – вам. – Иногда с сомнением: – И чековую книжку вам?

– Да, если пустая.

– Но если каждый листок разбирать, мы никогда не кончим – и я никогда не выйду замуж!

Я, с равнодушием вышедшей:

– Каждый листок.

Так, на живом опыте Е. А. И. – какая помеха иногда чужая помощь! Какой тормоз брачному паровозу – руки дружбы!

Есть, впрочем, в этом бумагопоклонстве еще нечто, кроме личной обиды детства. Простонародное: такому добру – да даром пропадать? Кто-то эту бумагу делал, над ней старался, этой бумаги не было – она стала. Для чего? Чтобы через дерзкий швырок рук – опять, вспять – не быть? Кроме крестьянского, чисто потребительского ценения вещи – рабочий, творческий вопль против уничтожения ценностей. Защита – нет: самозащита труда.

И надо всем – не было, стала, опять не быть?! – исконный бой поэта – небытию.

Я – страница твоему перу,
Вес приму: я – белая страница.

Я – хранитель твоему добру:
Возвращу и возвращу сторицей.

Я деревня, черная земля.
Ты мне луч и дождевая влага.

Ты – Господь и Господин, а я –

Чернозем – и белая бумага.

Сознавала ли я тогда, в 18-м году, что, уподобляя себя самому смиренному (чернозем и белая бумага), я называла – самое великое: недра (чернозем) и все возможности белого листа? Что я, в полной бесхитрости любящей, уподобляла себя просто – всему? Сознавала ли я и – сознавал ли он?

1918 год – 1931 год. Одна поправка: так говорить должно только к Богу. Ведь это же молитва! Людям не молятся. 13 лет назад я этого еще – нет, знала! – упорно не хотела знать. И – раз навсегда – все мои такие стихи, всё вообще такие стихи обращены к Богу. (Недаром я – вовсе не из посмертной женской гордости, а из какой-то последней чистоты совести – никогда не проставляла посвящений.) –

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Поверх голов – к Богу! По крайней мере – к ангелам. Хотя бы по одному тому, что ни одно из этих лиц их не приняло, – не присвоило, к себе не отнесло, в получке не расписалось.

Так: все мои стихи – к Богу если не обращены, то: возвращены.

* * *

В конце концов – допишешься до Бога! Бог (тот свет) – наш опыт с этим. Всё отшвыривает.

* * *

– Ну, уж этого я вам хранить не дам! На что будет похож ваш дом, если каждую бумажку...

Это моя кроткая приятельница вознегодовала, и, разом полный передник... (мы обе в передниках, она – полугерманского происхождения, я вполне германского воспитания).

– Мое? Мое?!

– Да не ваше вовсе – и не мое – сочинения одного старичка, который прислал мне их, умоляя напечатать, – читала: ужасно! – и тут же умер...

– Ка-ак? Вы мертвого старичка жжете?

– Я десять лет их берегла, наследников нет, не везти же с собой замуж! И уверяю вас, Марина Ивановна, что даже белые листы из его сочинений vous porteraient malheur![3]

– Ну, Бог со старичком! Если явится – так Вам. А это что – жжете?

– А это старушки одной, генеральши, перевод – для собственного удовольствия – лермонтовского “Демона” в прозе. Тоже “напечатать”...

– Тоже померла?

– Нет, жива, но совсем впала в детство...

– Жечь старушку!

* * *

– Передохнём? А то – пожар!

– Пусть дом сгорит – вашим свадебным факелом! Дом – знаменитый в русской эмиграции, 1, Avenue de la Gare, всеэмигрантские казармы, по ночам светящиеся, как бал или больница, каждое окно своей бессонницей, дом, со всех семи этажей которого позднему прохожему на плечи – как ливень – музыка, из каждого окна своя (vous ne donnez done jamais[4]) – струнная – духовая – хоровая – рояльная – сопранная – младенческая – русская разноголосица тоски. Дом, где каждый день умирают старые и рождаются новые, весь в крестинах и похоронах, с невыходящим священником и невыходящим почтальоном (и кому это вы всё пишете?). Дом, где никогда никого не застанешь, потому что все в гостях – в доме же, где Иванов никогда не застает Петрова, потому что Петров у Иванова, дом с живыми ступеньками ног, лестницами шагов. Дом – с Рождеством, сияющим до масленицы, и с масленицей, расплескивающейся до Пасхи, – ибо всегда кто-то (болезнь, безденежье) запаздывает и до-праздновывает – сплошной Новый год, сплошное христосование; на последнюю (1931 год) Пасху весь разом снявшийся – по трем медонским, одной кламарской, пяти парижским церквам (хоть одному Богу – да врозь!) и, несмотря на разность расстояний и верований, весь разом ввалившийся со свечами и поцелуями – за поздним часом не спавший вовсе, дом, на следующее утро весь в записках – “Христос Воскресе! Мы у вас – ”

Дом, где по одной лестнице так спешат друг к другу, что никогда не встречаются. Неодушевленный предмет, одушевленный русскими душами. Форт, где до утра не закрываются двери. Крепость – настезь! Поющий, вопиющий, взывающий и глаголящий, ставший русским дом 1, авеню де ля Гар.

* * *

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Сколько жжем? Час? Три? На ломберном (от карточной игры l'hombre) столе стынет чай в серебряных кувшинчиках. До воды ли, когда – огонь. А с огнем неладное: рвет из рук, не дожидаясь подачи, как не дождалась ее те поволжские дикари, сожравшие прежде американского пшена самого американца с сапогами и с курткой – и жесты те ж, присядочные, приплясывающие, предвкушающие. Американец, ничего не подозревая, улыбался во весь рот и рост, не зная, что радуются ему, а не пшену.

И с нами неладное – уже никаких беречь и никаких жечь – просто жжем не разбирая, даже не разрывая, полными горстями и листьями. Секундами – уколы того, что было совестью:

“А вдруг – нужное?” Но и уколам конец. Непроницаемость каминного мрамора. Гляжу на ее лицо, пляшущее красными языками, как и собственное мое. И слышу рассказ владимирской няньки Нади:

– У нас, барыня, в деревне мужик был, все жег. Режут хлеб – счистит со стола крошки – и жгет. Куру щиплют – жгет. И всякий сор. А когда и не сор, когда очень даже нужное. Все – жег. Богу – слава.

* * *

...Если огонь дикарь, то и мы дикари. Огонь огнепоклонника уподобляет себе.

* * *

Не знаю – она, я – цинически жгу. “Глядите, Е. А., красота какая! Венеция?” И не дав ей взглянуть – в печь. Целые связки писем, в лентах (“favours”). А счетов! А чековых книжек! А корректур, тщательных, где каждое слово значило, где в данную секунду значило только оно.

– Да мы с вами сейчас, Е. А., знаете кто?

– Варвары? Вандалы?

– Куды там! Семнадцатого года солдаты в наших собственных усадьбах.

– Нет, – ее спокойный голос, – просто парсы.

– Проще парсов есть: те, что в скитах горят!

Рывки, швырки, сине-красная свистопляска пламени, нырок вниз, за очередным довольством Бога, пустеющие папки, невмещающая решетка и –

– Который час? Как? Да ведь мне год как нужно быть дома!

Насилу оторвавшись (тот же дикарь от миссионера), бегу, огненных дел мастер – нет, с вертела сорвавшаяся дичь! – копчено-оленьими коленями и лососинными ладонями, в дыму, пламени, золе и пепле чужой – чужих жизней – ибо три поколения жжем (здесь – жгем!) – слепая от огня и ликующая, как он сам – бегу по – когда белому, когда черному, был день по лунно-затменному – Медону – домой, к тетрадам, к детям – к строительству жизни.

Но – чего-то явно не хватает. Рукам не хватает. (И глазам! И ноздрям!) Что-то нужно сделать, скорей сделать, сейчас сделать. Писать? Отскок от стола. Обед варить? Тот же отскок от стола другого.

И – знаю!

* * *

Ибо не дано безнаказанно жечь чужую жизнь. Ибо – чужой жизни – нет.

* * *

Мои папки, ящики, связки, корзинки, полки. То на полу, на коленях и локтях, то на столе, на носках, “пуантах”. Руки то вгребаются, то, вытянутые, удерживают неудержимо ползущее в них сверху. Держу подбородком и коленом, потяжелевшая на пуд бумаги соскакиваю с двухаршинной высоты как в пропасть.

Мой советник, мой тайный советник – дочь.

– Мама, не жгите!

– Пусть, пусть горит!

– Мама, вы что-то нужное жжете. Вырезка какая-то. Может быть, о вас?

– О мне так долго не пишут. Фельетон целый. Что это может быть?

Подношу к глазам. Двустиише. Губы, опережая глаза, произносят:

Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим.
2. Город Александров Владимирской губернии
Александров. 1916 год. Лето.

Город Александров Владимирской губернии, он же Александровская Слобода, где Грозный убил сына.

Красные овраги, зеленые косогоры, с красными на них телятами. Городок в черемухе, в плетнях, в шинелях. Шестнадцатый год. Народ идет на войну.

* * *

Город Александров Владимирской губернии, моей губернии, Ильи Муромца губернии. Оттуда – из села Талицы, близ города Шуи, наш цветаевский род. Священнический. Оттуда – Музей Александра III на Волхонке (деньги Мальцева, замысел и четырнадцатилетний безвозмездный труд отца), оттуда мои поэмы по две тысячи строк и черновики к ним – в двадцать тысяч, оттуда у моего сына голова, не вмещающая ни в один головной убор. Большеголовые все. Наша примета.

Оттуда – лучше, больше чем стихи (стихи от матери, как и остальные мои беды) – воля к ним и ко всему другому – от четверостишия до четырехпудового мешка, который нужно поднять – что! – донести.

Оттуда – сердце, не аллегория, а анатомия, орган, сплошной мускул, сердце, несущее меня вскачь в гору две версты подряд – и больше, если нужно, оно же, падающее и опрокидывающее меня при первом вираже автомобиля. Сердце не поэта, а пешехода. Пешее сердце только потому не мрущее на катящихся лестницах и лифтах, что их обскакивающее. Пешее сердце всех моих лесных предков от деда о. Владимира до прапращура Ильи.

Оттуда – ноги, но здесь свидетельство очевидца. Вандея, рыбный рынок, я с рыбного рынка, две рыбки. “Comme elle court, mais comme elle court, cette dame” – “Laisse-la done courir, elle finira bien par s’arreter!”[5]

– С сердцем. –

Оттуда (село Талицы Владимирской губернии, где я никогда не была), оттуда – всё.

Город Александров Владимирской губернии. Домок на окраине, лицом, крыльцом в овраг. Домок деревянный, бабь-ягинский. Зимой – сплошная печь (с ухватками, с шестками!), летом – сплошная дичь: зелени, прущей в окна.

Балкон (так напоминающий плетень!), на балконе на розовой скатерти – скатерке – громадное блюдо клубники и тетрадь с двумя локтями. Клубника, тетрадь, локти – мои.

1916 год. Лето. Пишу стихи к Блоку и впервые читаю Ахматову.

Перед домом, за лохмами сада, площадка. На ней солдаты учатся – стрельбе.

Вот стихи того лета:

Белое солнце и низкие, низкие тучи,
Вдоль огородов – за белой стеною – погост.
И на песке вереницы соломенных чучел
Под перекладинами в человеческий рост.
И, перевесившись через заборные колья,
Вижу: дороги, деревья, солдаты вразброд.
Старая баба – посыпанный крупною солью

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Черный ломоть у калитки жует и жует...
Чем прогневили тебя эти серые хаты,
Господи! – и для чего стольким простреливать грудь?
Поезд прошел и завыл, и завывали солдаты,
И запыхал, запыхал отступающий путь...
Нет, умереть! Никогда не родиться бы лучше,
Чем этот жалобный, жалостный, каторжный вой
О чернотелых красавицах. – Ох, и поют же
Нынче солдаты! О, господи боже ты мой!
(Александров, 3 июля 1916 года)
Так, с тем же чувством, другая женщина, полтора года спустя, с высоты
собственного сердца и детской ледяной горки, провожала народ на войну.

* * *

Махали, мы – платками, нам – фуражками. Песенный вой с дымом паровоза ударили в
лицо, когда последний вагон давно уже скрылся из глаз.

Помню, меньше чем год спустя (март 1917 года), в том же Александрове, денщик –
мне:

– Читал я вашу книжку, барыня. Все про аллеи да про любовь, а вы бы про нашу
жизнь написали. Солдатскую. Крестьянскую.

– Но я не солдат и не крестьянин. Я пишу про что знаю, и вы пишете – про что
знаете. Сами живете, сами и пишете.

Денщик Павел – из молодых, да ранний. (“Про аллеи да про любовь” – не весь ли
социальный упрек Советов?)

А я тогда сказала глупость – не мужик был Некрасов, а Коробушку по сей день
поют. Просто огрызнулась – отгрызнулась – на угрозу заказа. Кстати и вкратце.
Социальный заказ. И социальный заказ не беда, и заказ не беда.

Беда социального заказа в том, что он всегда приказ.

В том же Александрове меня застала весть об убийстве Распутина.

Не: “два слова о Распутине”, а: в двух словах – Распутин. Есть у Гумилева стих –
“Мужик” – благополучно просмотренный в свое время царской цензурой – с таким
четверостишием:

В гордую нашу столицу
Входит он – Боже спаси! –
Обворожает Царицу
Необозримой Руси...

Вот, в двух словах, четырех строках, все о Распутине, Царице, всей той туче. Что
в этом четверостишии? Любовь? Нет. Ненависть? Нет. Суд? Нет. Оправдание? Нет.
Судьба. Шаг судьбы.

Вчитайтесь, вчитайтесь внимательно. Здесь каждое слово на вес – крови.

В гордую нашу столицу (две славных, одна гордая: не Петербург встать не может)
входит он (пешая и лешая судьба России!) – Боже спаси! – (знает: не спасет!),
обворожает Царицу (не обвораживает, а именно, по-деревенски: обворожает)
необозримой Руси – не знаю, как других, меня это “необозримой” (со всеми
звенящими в нем зорями) пронзает – ножом.

Еще одно: эта заглавная буква Царицы. Не раболепство, нет! (писать другого с
большой еще не значит быть маленьким), ибо вызвана величием страны, здесь страна
дарует титул, заглавное Ц – силой вещей и верст. Четыре строки – и все дано: и
судьба, и чара, и кара.

Объяснять стихи? Растворять (убивать) формулу, мнить у своего простого слова
силу большую, чем у певчего – сильнее которого силы нет, описывать – песню! (Как
в школе: “своими словами”, лермонтовского “Ангела”, да чтоб именно своими, без
ни одного лермонтовского – и что получалось, Господи! до чего ничего не
получалось, кроме несомненности: иными словами – нельзя. Что поэт хотел сказать
этими стихами? Да именно то, что сказал.)

Не объясняю, а славословлю, не доказую, а указую: указательным на страницу под названием “Мужик”, стихо-творение, читателем и печатью, как тогда цензурой и по той же причине – незамеченное. А если есть в стихах судьба – так именно в этих, чара – так именно в этих. История, на которой и “сверху” (правительство) и “сбоку” (попутчики) так настаивают сейчас в Советской литературе – так именно в этих. Ведь это и Гумилева судьба в тот день и час входила – в сапогах или валенках (красных сибирских “пимах”), пешая и неслышная по пыли или снегу.

Надпиши “Распутин”, все бы знали (наизусть), а “Мужик” – ну, еще один мужик. Кстати, заметила: лучшие поэты (особенно немцы: вообще-лучшие из поэтов) часто, беря эпиграф, не проставляют откуда, живописуя – не проставляют – кого, чтобы, помимо исконной сокровенности любви и говорения вещи самой за себя, дать лучшему читателю эту – по себе знаю! – несравненную радость: в сокрытии – открытии.

* * *

Дорогой Гумилев, породивший своими теориями стихосложения ряд разлагающихся стихотворцев, своими стихами о тропиках – ряд тропических последователей –

Дорогой Гумилев, бессмертные попугаи которого с маниакальной, то есть неразумной, то есть именно попугайной неизменностью, повторяют ваши – двадцать лет назад! – молодого “мэтра” сентенции, так бесследно разлетевшиеся под колесами вашего же “Трамвая” –

Дорогой Гумилев, есть тот свет или нет, услышьте мою, от лица всей Поэзии, благодарность за двойной урок: поэтам – как писать стихи, историкам – как писать историю.

Чувство Истории – только чувство Судьбы.

Не “мэтр” был Гумилев, а мастер: боговдохновенный и в этих стихах уже безымянный мастер, скошенный в самое утро своего мастерства-ученичества, до которого в “Костре” и окружающем костре России так чудесно – древесно! – дорос.

* * *

Город Александров. 1916 год. Лето. Наискосок от дома, под гору, кладбище. Любимая прогулка детей, трехлетних Али и Андрюши. Точка притяжения – проваленный склеп с из земли глядящими иконами.

– Хочу в ту яму, где Боженка живет!

Любимая детей и нелюбимая – Осипа Мандельштама. От этого склепа так скоро из Александрова и уехал. (Хотел – “всю жизнь!”)

– Зачем вы меня сюда привели? Мне страшно. Мандельштам – мой гость, но я и сама гость. Гошу у сестры, уехавшей в Москву, пасу ее сына. Муж сестры весь день на службе. семья – я, Аля, Андрюша, нянька Надя и Осип Мандельштам.

Мандельштаму в Александрове, после первых восторгов, не можетя. Петербуржец и крымец – к моим косогорам не привык. Слишком много коров (дважды в день мимо-идуших, мимо-мычащих), слишком много крестов (слишком вечно стоящих). Корова может забодать. Мертвец встать. – Взбеситься. – Присниться. – На кладбище я, по его словам, “рассеянная какая-то”, забываю о нем, Мандельштаме, и думаю о покойниках, читаю надписи (вместо стихов!), высчитываю, сколько лет – лежащим и над ними растущим; словом: гляжу либо вверх, либо вниз... но неизменно от. Отвлекаюсь.

– Хорошо лежать!

– Совсем не хорошо: вы будете лежать, а я по вас ходить.

– А при жизни не ходили?

– Метафора! я о ногах, даже сапогах говорю.

– Да не по вас же! Вы будете – душа.

– Этого-то и боюсь! Из двух: голой души и разлагающегося тела еще неизвестно что

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru страшной.

– Чего же вы хотите? Жить вечно? Даже без надежды на конец?

– Ах, я не знаю! Знаю только, что мне страшно и что хочу домой.

Бедные мертвые! Никто о вас не думает! Думают о себе, который бы мог лежать здесь и будет лежать там. О себе, лежащем здесь. Мало, что у вас Богом отнята жизнь, людьми – Мандельштамом с его “страшно” и мною с моим “хорошо” – отнимается еще и смерть! Мало того, что Богом – вся земля, нами еще и три ваших последних ее аршина.

Одни на кладбище приходят – учиться, другие – бояться, третьи (я) – утешаться. Все – примерять. Мало нам всей земли со всеми ее холмами и домами, нужен еще и ваш холм, наш дом. Свыкаться, учиться, бояться, спастись... Все – примерять. А потом невинно дивимся, когда на повороте дороги или коридора...

Если чему-нибудь дивиться, так это редкости ваших посещений, скромности их, совестливости их... Будь я на вашем месте...

Тихий ответ: “Будь мы на твоём...”

* * *

Вспоминаю другое слово, тоже поэта, тоже с Востока, тоже впервые видевшего со мною Москву – на кладбище Новодевичьего монастыря, под божественным его сводом:

– Стоит умереть, чтобы быть погребенным здесь. Дома – чай, приветственный визг Али и Андрюши. Монашка пришла – с рубашками. Мандельштам шепотом:

– Почему она такая черная? Я, так же:

– Потому что они такие белые!

Каждый раз, когда вижу монашку (монаха, священника, какое бы то ни было духовное лицо) – стыжусь. Стихов, вихров, окурков, обручального кольца – себя. Собственной низости (мирскости). И не монах, а я опускаю глаза.

У Мандельштама глаза всегда опущены: робость? величие? тяжесть век? веков? Глаза опущены, а голова отброшена. Учитывая длину шеи, головная посадка верблюда. Трехлетний Андрюша – ему: “Дядя Ося, кто тебе так голову отвернул?” А хозяйка одного дома, куда впервые его привела, мне: “Бедный молодой человек! Такой молодой и уже ослеп?”

Но на монашку (у страха глаза велики!) покашивает. Даже, пользуясь ее наклоном над рубашечной гладью, глаза распахивает. Распахнутые глаза у Мандельштама – звезды, с завитками ресниц, доходящими до бровей.

– А скоро она уйдет? Ведь это неуютно, наконец. Я совершенно достоверно ощущаю запах ладана.

– Мандельштам, это вам кажется!

– И обвалившийся склеп с костями – кажется? Я, наконец, хочу просто выпить чаю!

Монашка над рубашкой, как над покойником:

– А эту – венчиком...

Мандельштам за спиной монашки шипящим шепотом:

– А вам не страшно будет носить эти рубашки?

– Подождите, дружок! Вот помру и именно в этой – благо что ночная – к вам и явлюсь!

За чаем Мандельштам оттаивал.

– Может быть, это совсем уже не так страшно? Может быть, если каждый день ходить

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
– привыкнешь? Но лучше завтра туда не пойдём...

Но завтра неотвратимо шли опять.

* * *

А однажды за нами погнался теленок.

На косогоре. Красный бычок.

Гуляли: дети, Мандельштам, я. Я вела Алю и Андрюшу, Мандельштам шел сам. Сначала все было хорошо, лежали на траве, копали глину. Норы. Прокапывались друг к другу и когда руки сходились – хохотали, – собственно, он один. Я, как всегда, играла для него.

Солнце выедало у меня – русость, у него – темность. – Солнце, единственная краска, для волос мною признаваемая! – Дети, пользуясь игрой взрослых, стягивали с голов полотняные грибы и устраивали ими ветер. Андрюша заезжал в лицо Але. Аля тихонько ныла. Тогда Андрюша, желая заглядеть, размазывал глиняными руками у нее по щекам голубоглазые слезы. Я, нахлобучив шапки, рассаживала. Мандельштам остервенело рыл очередной туннель и возмущался, что я не играю. Солнце жгло.

– До-о-мой!

Нужно сказать, что Мандельштаму, с кладбища ли, с прогулки ли, с ярмарки ли, всегда отовсюду хотелось домой. И всегда раньше, чем другому (мне). А из дому – непременно – гулять. Думаю, юмор в сторону, что когда не писал (а не-писал – всегда, то есть раз в три месяца по стиху) – томился. Мандельштаму, без стихов, на свете не сиделось, не ходилось – не жилось.

Итак, домой. И вдруг – галоп. Оглядываюсь – бычок. Красный. Хвост – молнией, белая звезда во лбу. На нас.

Страх быков – древний страх. Быков и коров, без различия, боюсь дико, за остановившуюся кротость глаз. И все-таки, тоже, за рога.

“Возьмет да поднимет тебя на рога!” – кто из нас этим припевом не баюкан? А рассказы про мальчика – или мужика – или чьего-то деда – которого бык взял да и поднял? Русская колыбель – под бычьим рогом!

Но у меня сейчас на руках две колыбели! Дети не испугались вовсе, принимают за игру, летят на моих вытянутых руках, как на канатах гигантских шагов, не по земле, а над. Скок усиливается, близится, настигает. Не вынеся – оглядываюсь. Это Мандельштам скачет. Бычок давно отстал. Может – не гнался вовсе?

Теперь знаю: весь мой “Красный бычок” оттуда, с той погони. Спал во мне с мая 1916 года и воскрес в 1929 году в Париже в предсмертном бреду добровольца. Знаю, что его бычок был именно мой – наш – александровский. И смех, которым он, умирающий, бычку смеялся – тот же смех Али и Андрюши: чистая радость бегу, игре, быку.

Смеясь, не знал, что смерть. И не 30-летним осколком несуществующей Армии, гражданином несуществующего государства, не на чужой земле столицы мира – нет! на своей, моей! – под всей защитой матери и родины – смеясь! – трехлетним – на бегу – умер.

– Барыня! чего это у нас Осип Емельич такие чудные? Кормлю нынче Андрюшу кашей, а они мне: “Счастливый у вас, Надя, Андрюша, завсегда ему каша готова, и все дырки на носках перештопаны. А меня – говорят – никто кашей не кормит, а мне – говорят – никто носков не штопает”. И так тяжело-о вздохнули, сирота горькая.

Это Надя говорит, Андрюшина няня, тоже владимирская. Об этой Наде надо бы целую книгу, пока же от сестры, уехавшей и не взявшей, перешла ко мне и ушла от меня только в 1920 году, ушла насильно, кровохаркающая от голода (преданность) и обворовывая (традиция), заочно звала сестру Асей, меня Мариной, гордилась нами, ни у кого больше служить не могла. Приручившаяся волчиха. К мужчинам, независимо от сословия, относилась с высокомерной жалостью, все у нее были “жа-алкие какие-то”.

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru Восемнадцать лет, волчий оскал, брови углом, глаза угли. Сестру, из-за этого и не вынесшу, любила с такой страстью ревности, что нарочно выдумывала у Андрюши всякие болезни, чтобы удержать дома. “Надя, я сейчас иду, вернусь поздно”. – “Хорошо, барыня, а что Андрюше дать, если опять градусник подымется?” – “Как подымется? Почему?” – “А разве я вам не говорила, он всю прогулку на головку жаловался...” И т. д. Ася, естественно, остается. Надя торжествует. И не благородная, часто бывающая ревность няни к благополучию ребенка (“что за барыня такая, ребенка бросает” и т. д.), самая неблагородная преступная ревность женщины – к тому, кого любит. Исступление, последний шаг которого – преступление. Врала или нет (врала – всегда, бесполезно и испуганно), но уходя от меня (все равно – терять нечего! третьей сестры не было!), призналась, что часто кормила Андрюшу толченым стеклом (!) и нарочно, в Крыму, в эпидемию, поила сырой водой, чтобы заболел и этим Асю прикрепил. Асю, говоря со мной, всегда звала “наша барыня”, колола мне ею глаза, – “а у нашей барыни” то-то так-то делается, иногда только, в порыве умиления: “Ба-а-рыня! Я одну вещь заметила: как стирать – вы все с себя сымаете! Аккурат наша барыня!” Ко мне, на явный голод и холод, вопреки моим остережениям (ни дровни хлеба – ни-ни –) поступила исключительно из любви к сестре. Так вдовцы, не любя, любя ту, на сестре покойной женятся. И потом – всю жизнь – пока в гроб не вгонят – на не-той вымещают.

В заключение – картинка. Тот же Александров. Сижу, после купанья, на песке. Рядом огромный неправдоподобно лохматый пес. Надя: “Барыня, чудно на вас смотреть: на одном как будто слишком много надето, а другому не хватает!”

Даровитость – то, за что ничего прощать не следовало бы, то, за что прощаешь все.

– ...А я им: а вы бы, Осип Емельич, женились. Ведь любая за вас барышня замуж пойдет. Хотите, сосватаю? Поповну одну. Я:

– И вы серьезно, Надя, думаете, что любая барышня?..

– Да что вы, барыня, это я им для утехи, уж очень меня разжалобили. Не только что любая, а ни одна даже, разве уж сухоручка какая. Чудён больно!

– Что это у вас за Надя такая? (Это Мандельштам говорит.) Няня, а глаза волчьи. Я бы ей ни за что – не только ребенка, котенка бы не доверил! Стирает, а сама хохочет, одна в пустой кухне. Попросил ее чаю – вы тогда уходили с Алей – говорит, весь вышел. “Купите!” – “Не могу от Андрюши отойти”. – “Со мной оставьте”. – “С ва-ами?” И этот оскорбительный хохот. Глаза-щели, зубы громадные – Волк!

– Налила я им тогда, барыня, стакан типятку, и несю. А они мне так жа-алобно: “Надя! А шоколадику нет?” – “Нет, – говорю, – варенье есть”. А они как застонут: “Варенье, варенье, весь день варенье ем, не хочу я вашего варенья. Что за дом такой – шоколада нет!” – “Есть, Осип Емельич, плиточка, только Андрюшина”. – “Андрюшина! Андрюшина! Печенье – Андрюшино, шоколад – Андрюшин, вчера хотел в кресло сесть – тоже Андрюшино!.. А вы отломите”. – “Отломить не отломлю, а вареньица принесу”. Так и выпили типятку – с вареньем.

* * *

Отъезд произошел неожиданно – если не для меня с моим четырехмесячным опытом – с февраля по июнь – мандельштамовских приездов и отъездов (наездов и бегств), то для него, с его детской тоской по дому, от которого всегда бежал. Если человек говорит навек месту или другому смертному – это только значит, что ему здесь – или со мной, например – сейчас очень хорошо. Так, а не иначе, должно слушать обеты. Так, а не иначе, по ним взыскивать. Словом, в одно – именно прекрасное! – утро к чаю вышел – готовый.

Ломая баранку, барственно:

– А когда у нас поезд?

– Поезд? У нас? Куда?

– В Крым. Необходимо сегодня же.

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
– Почему?

– Я-я-я здесь больше не могу. И вообще пора все это прекратить.

Зная отъезжающего, уговаривать не стала. Помогла собраться: бритва и пустая тетрадка, кажется.

– Осип Емельич! Как же вы поедете? Белье сырое!

С великолепной беспечностью отъезжающего:

– Высохнет на крымском солнце! – Мне: – Вы, конечно, проводите меня на вокзал?

Вокзал. Слева, у меня над ухом, на верблюжьей шее взволнованный кадык – Александровом подавился, как яблоком. Андрюша из рук Нади рвется под паровоз – “колесики”. Лирическая Аля, видя, что уезжают, терпеливо катит слезы.

– Он вернется? Он не насовсем уезжает? Он только так? Нянька Надя, блеща слезами и зубами, причитает:

– Сказали бы с вечера, Осип Емельич, я бы вам на дорогу носки выштопала... пирог спекла...

Звонок. Первый. Второй. Третий. Нога на подножке. Оборот.

– Марина Ивановна! я, может быть, глупость делаю, что уезжаю?

– Конечно (спохватившись)... конечно – нет! Подумайте:

Макс, Карадаг, Пра... И вы всегда же можете вернуться...

– Марина Ивановна! (паровоз уже трогается) – я, наверное. глупость делаю! Мне здесь (иду вдоль движущихся колес), мне у вас было так, так... (вагон прибавляет ходу, прибавляю и я) – мне никогда ни с...

Бросив Мандельштама, бегу, опережая ход поезда и фразы. Конец платформы. Столб. Столбенею и я. Мимовые вагоны: не он, не он, – он. Машу – как вчера еще с ним солдатам. Машет. Не одной – двумя. Отмахивается! С паровозной гривой относимый крик:

– Мне так не хочется в Крым!

На другом конце платформы сиротливая кучка: плачущая Аля: “Я знала, что он не вернется!” – плачущая сквозь улыбку Надя – так и не выштопала ему носков! – ревущий Андрюша – уехали его колесики!

3. Защита бывшего

Медон. 1931 год. Весна. Разбор бумаг. В руке чуть было не уничтоженная газетная вырезка.

...Где обрывается Россия

Над морем черным и чужим.

То есть как – чужим? Глужим! Мне ли не знать. И, закрыв глаза:

Не веря воскресенья чуду,

На кладбище гуляли мы.

Ты знаешь, мне земля повсюду

Напоминает те холмы.

(Выпадают две строки)

Где обрывается Россия

Над морем черным и глухим.

От монастырских косогоров

Широкий убегает луг.

Мне от владимирских просторов

Так не хотелось на юг.

Но в этой темной деревянной

И юродивой слободе

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

С такой монашкой туманной
Остаться – значит быть беде.

Целую локоть загорелый
И лба кусочек восковой.
Я знаю, он остался белый
Под смуглой прядью золотой.

От бирюзового браслета*
Еще белеет полоса.

Тавриды огненное лето
Творит такие чудеса.
Как скоро ты смуглянкой стала
И к Спасу бедному пришла.

Не отрываясь целовала,
А гордою в Москве была!
Нам остается только имя,
Чудесный звук, на долгий срок.

Прими ж ладонями моими
Пересыпаемый песок. [6]

Стихи ко мне Мандельштама, то есть первое от него после тех проводов.

Столь памятный моим ладоням песок коктебеля! Не песок даже – радужные камешки, между которыми и аметист, и сердолик, – так что не таков уж нищ подарок! Коктебельские камешки, целый мешок которых хранится здесь в семье Кедровых, тоже коктебельцев.

1911 год. Я после кори стриженная. Лежу на берегу, рою, рядом роет Волошин Макс.

– Макс, я выйду замуж только за того, кто из всего побережья угадает, какой мой любимый камень.

– Марина! (вкрадчивый голос Макса) – влюбленные, как тебе, может быть, уже известно, – глупеют. И когда тот, кого ты полюбишь, принесет тебе (сладчайшим голосом)... булыжник, ты совершенно искренно поверишь, что это твой любимый камень!

– Макс! Я от всего умнею! Даже от любви!

А с камешком – сбылось, ибо С. Я. Эфрон, за которого я, дождавшись его восемнадцатилетия, через полгода вышла замуж, чуть ли не в первый день знакомства отрыл и вручил мне – величайшая редкость! – генуэзскую сердоликовую бусу, которая и по сей день со мной.

А с Мандельштамом мы впервые встретились летом 1915 года в том же Коктебеле, то есть за год до описанной мною гостьбы. Я шла к морю, он с моря. В калитке Волошинского сада – разминулись.

Читаю дальше: “Так вот – это написано в Крыму, написано до беспамятства влюбленным поэтом”.

До беспамятства? Не сказала бы.

“Но поклонники Мандельштама, вообразив по этим данным (Крым, море, любовь, поэзия) картину, достойную кисти Айвазовского (есть, кстати, у Айвазовского такая картина, и прескверная, “Пушкин прощается с морем”) – поклонники эти несколько ошибутся”.

Настороженная “влюбленным до беспамятства”, читаю дальше:

“Мандельштам жил в Крыму. И так как он не платил за пансион и несмотря на требования хозяев съехать или уплатить...”

Стой! Стой! Это каких хозяев – требования, когда хозяевами были Макс Волошин и его мать, замечательная старуха с профилем Гёте, в детстве любимица ссыльного Шамиля. И какие требования, когда сдавали за гроши и им годами должали?

“...несмотря на требования хозяев съехать или заплатить, выезжать тоже не желал, то к нему применялась особого рода пытка, возможная только в этом живописном уголке Крыма – ему не давали воды”. (Макс и Елена Оттобальдовна – кому-нибудь не

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru давали воды? Да еще поэту?!)

“Вода в Коктебель привозилась издалека и продавалась бочками – ни реки, ни колодца не было – и Мандельштам хитростями и угрозами с трудом добивался от сурового хозяина или мегеры-служанки...”

– Да в Коктебеле, жила в нем с 11-го года по 17-й год, отродясь служанки не было, был полоумный сухорукий слуга, собственник дырявой лодки “Сократ”, по ней и звавшийся, – всю дачу бы по первому требованию отдавший!..

“Кормили его обедами...”

Кто? Макс? Макс вообще никого не кормил, сам где мог подкармливался, кормила добродушнейшая женщина в мире, державшая за две версты от дачи на пустыре столовую. Что же касается “обедаков” – в Коктебеле было только одно блюдо: баран, природный обедок и даже оглодок. Так что можно сказать: в Коктебеле не-обедаков не было. Коктебель, до всяких революций, – голодное место, там и обедаков не оставалось из-за угрожающего количества бродячих собак. Если же “обедаками” – так всех.

“Когда на воскресенье в Коктебель приезжали гости, Мандельштама выселяли из его комнаты – он ночевал в чулане...”

Не в чулане, а в мастерской у Макса с чудесами со всех сторон света, то есть месте, о котором иные и мечтать не смели!

“Простудившись однажды на такой ночевке...”

Это в Коктебеле-то, с его кипящим морем и трескающейся от жары землей! В Коктебеле, где все спали на воле, а чаще вовсе не спали: смотрели на красный столб встающего Юпитера в воде или на башне у Макса читали стихи. От восхода Юпитера до захода Венеры...

“...на такой ночевке он схватил ужасный флюс и ходил весь обвязанный, вымазанный йодом, сопровождаемый улюлюканьем местных мальчишек и улыбками остального населения “живописного уголка”...”

Живописный – да, если вести от живописцев: художников, друзей Макса, там живших (Богаевский, Лентулов, Кандауров, Нахман, Лев Бруни, Оболенская). Но живописный в кавычках – нет. Голые скалы, морена берега, ни кустка, ни ростка, зелень только высоко в горах (огромные, с детскую голову, пионы), а так – ковыль, полынь, море, пустыня. Пустырь. Автор, очевидно, Коктебель (Восточный Крым, Киммерия, родина амазонок, вторая Греция) принял за Алупку, дачу поэта Волошина, за “профессорский уголок”, где по вечерам Вяльцева в граммофон: “Наш уголок я убрала цвета-ами...” Коктебель – никаких цветов. И сплошной острый угол скалы. (Там, по преданию, в одной из скал, достигаемой только вплавь, – вход в Аид. Подплывала. Входила.)

“Особенно, кстати, потешалась над ним “она”, та, которой он предлагал принять в залог вечной любви “ладонями моими пересыпаемый песок”.

Потешалась? Я? Над поэтом – я? Я, которой и в Коктебеле-то не было, от которой он уехал в Крым!

“Она, очень хорошенькая (что?), немного вульгарная (что??), брюнетка (???), по профессии женщина-врач” (что-о-о???)...

“...вряд ли была расположена принимать подарки такого рода: в Коктебель привез ее содержатель, армянский купец, жирный, масляный, черномазый. Привез и был очень доволен: наконец-то нашел место, где ее было не к кому, кроме Мандельштама, ревновать...”

Женщина-врач на содержании у армянского купца – (помимо того, что этой данной женщины никогда не было) – не наши нравы! Еврейская, то есть русская, женщина-врач, то есть интеллигентка, сама зарабатывающая. У нас не так-то легко шли на содержание, особенно врачи! Да еще в 1916 году, в войну... Вот что значит – 10 лет эмиграции. Не только Мандельштам забыл, но и Россию.

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
“С флюсом, обиженный, некормленный Мандельштам выходил из дому, стараясь не попасться лишний раз на глаза хозяину или злой служанке. Всклопоченный, в сандалиях на босу ногу, он шел по берегу, встречные мальчишки фыркали ему в лицо и делали из полы свиное ухо...”

Кстати, забавная ассоциация: пола – свиное ухо. Еврей в долгополом сюртуке, которому показывают свиное ухо. Но у автора воспоминаний мальчишки из полы делают свиное ухо. Из какой это полы? Мальчишки – в рубашках, а у рубашки полы нет, есть подол. Пола у сюртука, у пальто, у чего-то длинного, что распахивается. Пола – это половина. Автор и крымских мальчишек, и крымское (50 градусов) лето, и просто мальчишек, и просто лето – забыл!

“Он шел к ларьку, где старушка-еврейка торговала спичками, папиросами, булками, молоком...” (которое, в скобках, в Коктебеле, как по всему Крыму, было величайшей редкостью. Бузой – да, ситро – да, “паша-тепе” – да, молоком – нет). “Эта старушка...”

И не старушка-еврейка, а цветущих лет грек – единственная во всем Коктебеле кофейня: барак “Бубны”, расписанный приезжими художниками и поэтами – даже стихок помню – изображен белоштаный дачник с тростью и моноклем и мы все: кто в чем, а кто и ни в чем –

Я скромный дачник, друг природы,
Стыдитесь, голые уроды!
Бубны, нищая кофейня “Бубны”, с великодержавной, над бревенчатой дверью
надписью:

Славны Бубны за горами!

С Коктебелем-местом у автора воспоминаний произошло то же, что у Игоря Северянина с Коктебелем-словом: Игорь Северянин в дни молодости, прочтя у Волошина под стихами подпись: Коктебель, – принял название места за название стихотворного размера (рондо, газель, ригурнель) и произвел от него “коктебли”, нечто среднее между коктейлем и констеблем. Автор воспоминаний дикий Коктебель подменяет то дачной Алушкой, то местечком Западного края с его лотками, старушками, долгополами мальчишками и т. д.

“Эта старушка, единственное существо во всем Коктебеле, относилась к нему по-человечески...”

Позвольте, а мы все? Всегда уступавшие ему главное место на арбе и последний глоток из фляжки? Макс и его мать, я, сестра Ася, поэтесса Майя – что ни женщина, то нянька, что ни мужчина, то дядька – все женщины, жалевшие, все мужчины, восхищавшиеся, – все мы и жалевшие и восхищавшиеся, с утра до ночи нянчившиеся и дядьчившиеся... Мандельштам в Коктебеле был общим баловнем, может быть, единственный, может быть, раз в жизни, когда поэту повезло, ибо он был окружен ушами – на стихи и сердцами – на слабости.

“Старушка (может быть, он ей напоминал собственного внука, какого-нибудь Янкеля или Осипа) по доброте сердечной оказывала Мандельштаму “кредит”: разрешала брать каждое утро булочку и стакан молока “на книжку”. Она знала, конечно, что ни копейки не получит – но надо же поддержать молодого человека – такой симпатичный, и должно быть, больной: на прошлой неделе все кашлял и теперь вот – флюс. Иногда Мандельштам получал от нее и пачку папирос 2-го сорта, спичек, почтовую марку. Если же он, потеряв чувствительность, рассеянно тянулся к чему-нибудь более ценному – коробке печенья или плитке шоколада – добрая старушка, вежливо отстранив его руку, говорила грустно, но твердо: “Извините, господин Мандельштам, это вам не по средствам”.

А вот мой вариант, очевидно неизвестный повествователю. Поздней осенью 1915 года Мандельштам выехал из Коктебеля в собственном пальто хозяина “Бубен”, ибо по беспечности или иному чему заложил или потерял свое. И когда год спустя, в тех же “Бубнах” грек – поэту: “А помните, господин Мандельштам, когда вы уезжали, шел дождь и я вам предложил свое пальто”, поэт – греку: “Вы можете быть счастливы, ваше пальто весь год служило поэту”.

Не говоря уже о непрерывном шоколаде в кредит – шоколаде баснословном. Так одного из лучших русских поэтов любило одно из лучших мест на земле: от поэта Максимилиана Волошина до полуграмотного хозяина нищей кофейни.

“Мандельштам шел по берегу, выжженному солнцем и выметенному постоянным унылым коктебельским ветром. Недовольный, голодный, гордый, смешной, безнадежно влюбленный в женщину-врача, подругу армянина, которая сидит теперь на своей веранде в розовом прелестном капоте и пьет кофе – вкусный жирный кофе, – и ест горячие домашние булки, сколько угодно булок...”

Товарищ пишуций, я никогда не ходила в розовых прелестных капотах, я никогда не была ни очень хорошенькой, ни просто хорошенькой, ни немного, ни много вульгарной, я никогда не была женщиной-врачом, никогда меня не содержал черномазый армянин, в такую “меня” никогда не был до беспамятства влюблен поэт Осип Мандельштам.

Кроме того, повторяю, Коктебель – место пусто, в нем никогда не было жирных сливок, только худосочное (с ковыля!) и горьковатое (с полыни!) козье молоко, никогда в нем не было и горячих домашних булок, вовсе не было булок, одни только сухие турецкие бублики, да и то не сколько угодно. И если поэт был голоден – виноват не “злой хозяин” Максимилиан Волошин, а наша общая хозяйка – земля. Здесь – земля Восточного Крыма, где ваша, автора воспоминаний, нога никогда не была.

Вы, провозгласив эти стихи Мандельштама одними из лучших в русской литературе, в них ничего не поняли. “Крымские” стихи написаны в Крыму, да, но по существу своему – Владимирские. Какие же в Крыму – “темные деревянные юродивые слободы”? Какие – “туманные монашки”? Стихи написаны фактически в Крыму, по существу же – изнутри владимирских просторов. Давайте по строкам:

Не веря воскресенья чуду,
На кладбище гуляли мы.
Ты знаешь, мне земля повсюду
Напоминает те холмы.

Какие холмы? Так как две последующие строки выпадают – в тексте просто заменены точками – два возможных случая: либо он и здесь, на русском кладбище, вспоминает – с натяжкой – холмы Крыма, либо – что гораздо вероятнее – и здесь, в Крыму, не может забыть холмы Александра. (За последнюю догадку двойная холмистость Александра: холмы почвы и холмы кладбища.)

Дальше, черным по белому:

От монастырских косогоров
Широкий убегает луг.
Мне от владимирских просторов
Так не хотелось на юг.
Но в этой темной, деревянной
И юродивой слободе

С такой монашкой туманной
Остаться – значит быть беде.

Монашка, думается мне, составная: нянька Надя с ее юродивым смехом, настоящая монашка с рубашками и, наконец, я с моими вождениями на кладбище. От троящегося лица – туман. Но так или иначе – от этой монашки и уезжает в Крым.

Целую локоть загорелый
И лба кусочек восковой.
Я знаю, он остался белый
Под смуглой прядью золотой.
От бирюзового браслета
Еще белеет полоса.

Тавриды огненное лето
Творит такие чудеса.

Еще белеет полоса, то есть от прошлого лета в Коктебеле (1915 год). Таково солнце Крыма, что жжет на целый год. Если бы говорилось о крымской руке – при чем тут еще и какое бы чудо?

Как скоро ты смуглянкой стала
И к Спасу бедному пришла,
Не отрываясь целовала,
А строгою в Москве была.

Не “строкою”, а гордою (см. “Tristia”). Не отрываясь целовала – что? – распятие,

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru конечно, перед которым в Москве, предположим, гордилась. Гордой по молодой глупости перед Богом еще можно быть, но строгой? Всякая монашка строга. В данной транскрипции получается, что “она” целовала не икону, а человека, что совершенно обесмысливает упоминание о Спасе и все четверостишие. Точно достаточно прийти к Богу, чтобы не отрываясь зацеловать человека.

Нам остается только имя,
Блаженный звук, короткий срок.
Не “блаженный звук, короткий срок”, а (см. книгу “Tristia”):

Чудесный звук, на долгий срок.
Автор воспоминаний, очевидно, вместо “на долгий” прочел “недолгий” и сделал из него “короткий”. У поэтов не так-то коротка память! – Но можно ли так цитировать, когда “Tristia” продается в каждом книжном магазине? Кончается фельетон цитатой:

Где обрывается Россия
Над морем черным и чужим.
Это пишущему, очевидно, – чужим, нам с Манделъштамом родным. Коктебель для всех, кто в нем жил, – вторая родина, для многих – месторождение духа. В данном же стихотворении:

Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим, –
глухо-шумящим, тем же из гениального стихотворения Манделъштама:

Бессонница, Гомер, тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладю когда-то поднялся –
Как журавлиный клин в чужие рубежи!
На головах царей божественная пена –
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи!
И море и Гомер – все движется любовью.
Кого же слушать мне?
И вот, Гомер молчит,
И море Черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.
Во избежание могущих повториться недоразумений оповещаю автора фельетона, что в книге “Tristia” стихи “В разноголосице девического хора”, “Не веря воскресенья чуду...” (“Нам остается только имя – чудесный звук, на долгий срок!”), “На розвальнях, уложенных соломой” принадлежат мне, стихи же “Соломинка” и ряд последующих – Саломее Николаевне Гальперн, рожденной кн. Андрониковой, ныне здравствующей в Париже и столь же похожей на ту женщину-врача, как и я.

Что весь тот период – от Германско-Славянского льна до “На кладбище гуляли мы” – мой, чудесные дни с февраля по июнь 1916 года, дни, когда я Манделъштаму дарила Москву. Не так много мне в жизни писали хороших стихов, а главное: не так часто поэт вдохновляется поэтом, чтобы так даром зря уступать это вдохновение первой небывшей подруге небывшего армянина.

Эту собственность – отстаиваю.

* * *

Но не о мне одной речь, мне – что; что эта брюнетка с армянином – я – никто не поверит. Что эти стихи ей, а не мне – если даже поверят – мне что! В конце-то концов! Знает Манделъштам, и знаю я.

И касайся это только меня, я бы только смеялась. А сейчас не смеюсь вовсе. Ибо дело, во-первых – в друге (моем и, как выясняется из фельетона, и автора. NB! Если так помнят друзья, то как же помнят враги?), во-вторых, в большом поэте, которого выводят пошляком (Манделъштам не только данной женщины не любил, но любить не мог), в-третьих, в другом поэте – Волошине – которого выводят скрягой и извергом (не давать воды), и в-четвертых, – в том, что все это преподносится в виде поучения молодым поэтам.

Закончим началом фельетона, вскрывающим повод, причину и цель его написания:

“На одном из собраний парижской литературной молодежи я слышал по своему адресу упрек: “Зачем вы искажаете образ Манделъштама, нашего любимого поэта? Зачем вы представляете его в своих воспоминаниях каким-то комическим чудаком? Разве он мог быть таким?”

Именно таким он и был. Ни одного слова о Манделъштаме я не выдумывал...”

В данном фельетоне, как доказано, выдуманы все.

“Я очень рад за Манделъштама, что молодые парижские стихотворцы его любят и еще больше рад за них: эта любовь многих из них больше приближает к поэзии, чем их собственные стихи. Но и я, право, чрезвычайно люблю поэзию Манделъштама, и, кроме того, на моей стороне есть еще то преимущество, что и его самого, чудаковатого, смешного, странного – неотделимого от его стихов – люблю не меньше и очень давно, очень близко знаю. Были времена, когда мы были настолько неразлучны, что у нас имелась, должно быть, единственная в мире визитная карточка: такой-то[7] и О. Манделъштам.

И разве не слышали наши “молодые поэты”, что высокое и смешное, самое высокое и самое смешное, часто бывают переплетены так, что не разобрать, где начинается одно и кончается другое”.

Высокое и смешное – да, высокое и пошлое – никогда.

“...Приведу, для наглядности, пример из жизни того же “чудака”, “ангела”, “комического персонажа” – из жизни поэта Манделъштама...”

Цену примеру – мы знаем.

Большой фельетон у литераторов зовется подвал. Здесь – правильно. Киммерийские утесы и мои Александровские холмы, весь Коктебель с его высоким ладом, весь Манделъштам с его высокой тоской здесь низведены до подвала – быта (никогда не бывшего!).

Не знаю, нужны ли вообще бытовые подстрочники к стихам: кто – когда – где – с кем – при каких обстоятельствах – и т. д., как во всем известной гимназической игре. Стихи быт перемололи и отбросили, и вот из уцелевших отсевков, за которыми ползает вроде как на коленках, биограф тщится воссоздать бывшее. К чему? Приблизить к нам живого поэта. Да разве он не знает, что поэт в стихах – живой, по существу – далекий?

Но – спорить не буду – официальное право у биографа на быль (протокол) есть. И уж наше дело извлечь из этого протокола соответствующий урок. Важно одно: чтобы протокол был бы именно протоколом.

Если хочешь писать быль, знай ее, если хочешь писать пасквиль – меняй имена или жди сто лет. Не померли же мы все на самом деле! Живи автор фельетона на одной территории со своим героем – фельетона не было бы. А так... за тридцать земель... да, может, никогда больше и еще не встретимся... А тут – соблазн анекдота, легкого успеха у тех, кто чтению стихов поэта предпочитает – сплетни о нем.

Безответственность разлуки и безнаказанность расстояния.

* * *

– А зачем же, не признавая бытового подстрочника, взяли да все это нам и рассказали? Зачем нам знать, как великий поэт Манделъштам по зеленому косоугору скакал от невинного тельца?

На это отвечу:

На быль о Манделъштаме летом 1916 года я была вызвана вымыслом о Манделъштаме летом 1916 года. На свой подстрочник к стихотворению – подстрочником тем. Ведь никогда (1916 – 1931 годы) я не утверждала этой собственности, пока на нее не напали. – Оборона! – Когда у меня в Революцию отняли деньги в банке, я их не оспаривала, ибо не чувствовала их своими. – Ограбили дедов! – Эти стихи я – хотя бы одной своей заботой о поэте – заработала.

Еще одно: ограничившись одним опровержением вымысла, то есть просто уличив, я бы оказалась в самой ненавистной мне роли – прокурора. Противопоставив вымыслу – живую жизнь, – и не обаятелен ли мой Мандельштам, несмотря на страх покойников и страсть к шоколаду, а быть может, и благодаря им? – утвердив жизнь, которая сама есть утверждение, я не выхожу из рожденного состояния поэта – защитника.

Медон, апрель – май 1931

Живое о живом
(Волошин)

...И я, Лозэн, рукой белей чем снег,
Я подымал за чернь бокал заздравный!
И я, Лозэн, вещал, что полноправны
Под солнцем – дворянин и дровосек!
Одиннадцатого августа – в Коктебеле – в двенадцать часов пополудни – скончался
поэт Максимилиан Волошин.

Первое, что я почувствовала, прочтя эти строки, было, после естественного удара смерти – удовлетворенность: в полдень: в свой час.

Жизни ли? Не знаю. Поэту всегда пора и всегда рано умирать, и с возрастными годами жизни он связан меньше, чем с временами года и часами дня. Но, во всяком случае, в свой час суток и природы. В полдень, когда солнце в самом зените, то есть на самом темени, в час, когда тень побеждена телом, а тело растворено в теле мира – в свой час, в волошинский час.

И достоверно – в свой любимый час природы, ибо 11 августа (по-новому, то есть по-старому конец июля), – явно полдень года, самое сердце лета.

И достоверно – в самый свой час Коктебеля, из всех своих бесчисленных обликов запечатлевающегося в нас в облике того солнца, которое как Бог глядит на тебя неустанно и на которое глядеть нельзя.

Эта печать коктебельского полдневного солнца – на лбу каждого, кто когда-нибудь подставил ему лоб. Солнца такого сильного, что загар от него не смывался никакими московскими зимами и земляничными мылами, и такого доброго, что, невзирая на все свои пятьдесят градусов – от первого дня до последнего дня – десятилетиями позволяло поэту сей двойной символ: высшей свободы от всего и высшего уважения: непокрытую голову. Как в храме.

Пишу и вижу: голова Зевеса на могучих плечах, а на дремучих, невероятного завива кудрях, узенький польнный веночек, насыщенная необходимость, принимаемая дураками за стилизацию, равно как его белый парусиновый балахон, о котором так долго и жарко спорили (особенно дамы), есть ли или нет под ним штаны.

Парусина, польнь, сандалии – что чище и вечнее, и почему человек не вправе предпочитать чистое (стирающееся, как парусина, и сменяющееся, но неизменное, как сандалии и польнь) – чистое и вечное – грязному (городскому) и случайному (модному)? И что убийственнее – городского и модного – на берегу моря, да еще такого моря, да еще на таком берегу! Моя формула одежды: то, что не красиво на ветру, есть уродливо. Волошинский балахон и польнный веночек были хороши на ветру.

И так в свой час – в двенадцать часов пополудни, кстати, слово, которое он бы с удовольствием отметил, ибо любил архаику и весомость слов, в свой час суток, природы и Коктебеля. Остается четвертое и главное: в свой час сущности. Ибо сущность Волошина – полдневная, а полдень из всех часов суток – самый телесный, вещественный, с телами без теней и с телами, спящими без снов, а если их и видящими – то один сплошной сон земли. И, одновременно, самый магический, мифический и мистический час суток, такой же мага-мифо-мистический, как полночь. Час Великого Пана, *Demon de Midi* [8], и нашего скромного русского полуденного, о котором я в детстве, в Калужской губернии, своими ушами: “Лёнка, идем купаться!” – “Не пойду-у: полуденный утащит”. – Магия, мифика и мистика самой земли, самого земного состава.

Таково и творчество Волошина, в котором, по женски-гениально-непосредственному слову поэтессы Аделаиды Герцык, меньше моря, чем материка, и больше берегов, чем

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru реки. Творчество Волошина – плотное, весомое, почти что творчество самой матери, с силами, не нисходящими свыше, а подаваемыми той – мало насквозь прогретой, – сожженной, сухой, как кремень, землей, по которой он так много ходил и под которой ныне лежит. Ибо этот грузный, почти баснословно грузный человек (“семь пудов мужской красоты”, как он скромно оповещал) был необычайный ходок, и жилистые ноги в сандалиях носили его так же легко и заносили так же высоко, как козьи ножки – козочек. Неутомимый ходок. Ненасытный ходок. Сколько раз – он и я – по звенящим от засухи тропкам, или вовсе без тропок, по хребтам, в самый полдень, с непокрытыми головами, без палок, без помощи рук, с камнем во рту (говорят, отбивает жажду, но жажду беседы он у нас не отбивал), итак, с камнем во рту, но, несмотря на камень во рту и несмотря на постоянную совместность – как только свидевшиеся друзья – в непрерывности беседы и ходьбы – часами – летами – все вверх, все вверх. Пот лил и высыхал, нет, высыхал, не успев пролиться, беседа не пересыхала – он был неутомимый собеседник, то есть тот же ходок по дорогам мысли и слова. Рожденный пешеход. И такой же лазун.

Не таким он мне предстал впервые, в дверях залы нашего московского дома в Трехпрудном, о, совсем не таким! Звонок. Открываю. На пороге цилиндр. Из-под цилиндра безмерное лицо в оправе вьющейся недлинной бороды.

Вкрадчивый голос: “Можно мне видеть Марину Цветаеву?” – “Я”. – “А я – Макс Волошин. К вам можно?” – “Очень!”

Прошли наверх, в детские комнаты. “Вы читали мою статью о вас?” – “Нет”. – “Я так и думал и потому вам ее принес. Она уже месяц, как появилась”.

Помню имена: Марселина Деборд-Вальмор, Ларю-Мардрюс, Ноайль – вступление. Потом об одной мне – первая статья за жизнь (и, кажется, последняя большая) о моей первой книге “Вечерний альбом”. Помню о романтике сущности вне романтической традиции – такую фразу: “Герцог Рейхштадтский, Княжна Джаваха, Маргарита Готье – герои очень юных лет...”, цитату:

Если думать – то где же игра? – и утверждение: Цветаева не думает, она в стихах – живет, и главный упор статьи, стихи “Молитва”:

Ты дал мне детство лучше сказки,
И дай мне смерть – в семнадцать лет!
Вся статья – самый беззаветный гимн женскому творчеству и семнадцатилетию.

“Она давно появилась, больше месяца назад, неужели вам никто не сказал?” – “Я газет не читаю и никого не вижу. Мой отец до сих пор не знает, что я выпустила книгу. Может быть, знает, но молчит. И в гимназии молчат”. – “А вы – в гимназии? Да, вы ведь в форме. А что вы делаете в гимназии?” – “Пишу стихи”.

Некоторое молчание, смотрит так пристально, что можно бы сказать, бессовестно, если бы не широкая, все ширеющая улыбка явного расположения – явно располагающая.

– А вы всегда носите это?..

– Чепец? Всегда, я бритая.

– Всегда бритая?

Всегда.

– А нельзя ли было бы... это... снять, чтобы я мог увидеть форму вашей головы. Ничто так не дает человека, как форма его головы.

– Пожалуйста.

Но я еще руки поднять не успела, как он уже – осторожно – по-мужски и по-медвежьи, обеими руками – снял.

– У, вас отличная голова, самой правильной формы, я совершенно не понимаю...

Смотрит взглядом ваятеля или даже резчика по дереву – на чурбан – кстати, глаза

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
точь-в-точь как у Врубелевского Пана: две светящиеся точки – и, просительно:

– А нельзя ли было бы уж зараз снять и...

Я:

– Очки?

Он, радостно:

– Да, да, очки, потому что, знаете, ничто так не скрывает человека, как очки.

Я, на этот раз опережая жест:

– Но предупреждаю вас, что я без очков ничего не вижу.

Он спокойно:

– Вам видеть не надо, это мне нужно видеть.

Отступает на шаг и, созерцательно:

– Вы удивительно похожи на римского семинариста. Вам, наверно, это часто говорят?

– Никогда, потому что никто не видел меня бритой.

– Но зачем же вы тогда бреетесь?

– Чтобы носить чепец.

– И вы... вы всегда будете бриться?

– Всегда.

Он, с негодованием:

– И неужели никто никогда не полюбопытствовал узнать, какая у вас голова? Голова, ведь это – у поэта – главное!.. А теперь давайте беседовать.

И вот беседа – о том, что пишу, как пишу, что люблю, как люблю – полная отдача другому, вникание, проникновение, глаз не сводя с лица и души другого – и каких глаз: светлых почти добела, острых почти до боли (так слезы выступают, когда глядишь на сильный свет, только здесь свет глядит на тебя), не глаз, а сверл, глаз действительно – прозорливых. И оттого, что не больших, только больше видящих – и видных. Внешне же: две капли морской воды, в которой бы прожгли зрачок, за которой бы зажгли – что? ничего, такие брызги остаются на руках, когда по ночному волошинскому саду несутся с криками: скорей! скорей! море светится! Не две капли морской воды, а две искры морского живого фосфора, две капли живой воды.

Под дозором этих глаз, я тогда очень дикая, еще дичаю, не молчу, а не смолкаю: сплошь – личное, сплошь – лишнее: о Наполеоне, любимом с детства, о Наполеоне II, с Ростановского "Aiglon"[9], о Саре Бернар, к которой год назад сорвалась в Париж, которой там не застала и кроме которой там все-таки ничего не видела, о том Париже – с N majuscule повсюду – с заглавным N на взлобьях зданий – о Его Париже, о моем Париже.

Улыбаясь губами, а глазами сверля, слушает, изредка, в перерывы моего дыхания, вставляя:

– А Бодлера вы никогда не любили? А Артюра Рембо – вы знаете?

– Знаю, не любила, никогда не буду любить, люблю только Ростана и Наполеона I и Наполеона II – и какое горе, что я не женщина и не тогда жила, чтобы пойти с Первым на св. Елену и с Вторым в Шенбрунн.

Наконец, в секунду, когда я совсем захлебнулась:

- Вы здесь живете?
- Да, то есть не здесь, конечно, а...
- Я понимаю: в Шенбрунне. И на св. Елене. Но я спрашиваю: это ваша комната?
- Это – детская, бывшая, конечно, а теперь Асина, это моя сестра – Ася.
- Я бы хотел посмотреть вашу.

Провожу. Комната с каюту, по красному полю золотые звезды (мой выбор обоев: хотелось с наполеоновскими пчелами, но так как в Москве таковых не оказалось, примирилась на звездах) – звездах, к счастью, почти сплошь скрытых портретами Отца и Сына – Жерара, Давида, Гро, Лавренса, Мейссонье, Верещагина – вплоть до киота, в котором богоматерь заставлена Наполеоном, глядящим на горящую Москву. Узенький диван, к которому вплотную письменный стол. И все.

Макс, даже не попробовавший протиснуться:

- Как здесь – тесно!

Кстати, особенность его толщины, вошедшей в поговорку. Никогда не ощущала ее избытком жира, всегда – избытком жизни, как оно и было, ибо он ее легко носил (хочется сказать: она-то его и носила!) и со своими семью пудами никогда не возбуждал смеха, всегда серьезные чувства, как в женщинах любовь, в мужчинах – дружбу, в тех и других – некий священный трепет, никогда не дававший сходить с ним окончательно, вплотную, великий барьер божественного уважения, то есть его божественного происхождения, данный еще и физически, в виде его чудного кетового живота.

- Как здесь тесно!

Действительно, не только все пространство, несуществующее, а весь воздух вытеснен его зевесовым явлением. Одной бы его головы хватило, чтобы ничему не уместиться. Так как сесть, то есть пролезть, ему невозможно, беседуем стоя.

Вкрадчивый голос:

- А франси Жамма вы никогда не читали? А Клодедя вы... В ответ самоутверждаюсь, то есть утверждаю свою любовь к совсем не франси Жамму и Клоделю, а – к Ростану, к Ростану, к Ростану.

Et maintenant il faut que Ton Altesse donne...[10]

- Вы понимаете? Тон (любовь) – и все-таки Altesse!

Ame pour qui la mon fut une guerison...[11]

- А для кого – не?

Dorme dans le tombeau de sa double prison,
De son cercueil de bronze et de son uniforme.[12]

- Вы понимаете, что Римскогокороля похоронили в австрийском!

Слушает истово, теперь вижу, что меня, а не Ростана, мое семнадцатилетнее во всей чистоте его самосожжения – не оспаривает – только от времени до времени – робко:

- А Анри де Ренье вы не читали –

“La double maitresse[13]? А Стефана Малларме вы не...

И внезапно – au beau milieu Victor hugo'ской оды[14] Наполеону II – уже не вкрадчиво, а срочно:

- А нельзя ли будет пойти куда-нибудь в другое место?
- Можно, конечно, вниз тогда, но там семь градусов и больше не бывает.

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Он, уже совсем сдавленным голосом:

– У меня астма, и я совсем не переношу низких потолков, – знаете... задыхаюсь.

Осторожно свожу по узкой мезонинной лестнице. В зале – совсем пустой и ледяной – вздыхает всей душой и телом и с ласковой улыбкой, нежнейше:

– У меня как-то в глазах зарябило – от звезд.

* * *

Кабинет отца с бюстом Зевеса на вышке шкафа. Сидим, он на диване, я на валике (я – выше), гадаем, то есть глядим: он мне в ладонь, я ему в темя, в самый водоворот: волосоворот. Из гадания, не слукая, помню только одно:

– Когда вы любите человека, вам всегда хочется, чтобы он ушел, чтобы о нем помечтать. Ушел подальше, чтобы помечтать, подольше. Кстати, я должен идти, до свиданья, спасибо вам.

– как? Уже?

– А вы знаете, сколько мы с вами побеседовали? Пять часов, я пришел в два, а теперь семь. Я скоро опять приду.

Пустая передняя, скрип парадного, скрип мостков под шагами, калитка...

Когда вы любите человека, вам всегда хочется, чтобы он ушел, чтобы о нем помечтать.

* * *

– Барышня, а гость-то ваш – никак, ушли?

– Только что проводила.

– Да неужто вам, барышня, не стыдно – с голой головой – при таком полном барине, да еще кудреватом таком! А в цилиндре пришли – ай жених?

– Не жених, а писатель. А чепец снять – сам велел.

– А-а-а... Ну, ежели писатель – им виднее. Очень они мне пондравились, как я вам чай подавала: полные, румяные, солидные и улыбочивые. И бородатые. А вы уж, барышня, не сердитесь, а вы им, видать – ух! – пондравились: уж так на вас глядел, уж так на вас глядел: в са-амый рот вам! А может, барышня, еще пойдете за них замуж? Только поскорей бы косе отрусть!

* * *

Через день письмо, открываю: стихи:

К вам душа так радостно влекома!

О, какая веет благодать

От страниц вечернего Альбома!

(Почему альбом, а не тетрадь?)

Отчего скрывает чепчик черный

чистый лоб, а на глазах очки?

Я отметил только взгляд покорный

И младенческий овал щеки.

Я лежу сегодня – невралгия,

Боль, как тихая виолончель...

Ваших слов касания благие

и стихи, крылатый взмах качель,

убаюкивают боль: скитальцы,

Мы живем для трепета тоски...

Чьи прохладно-ласковые пальцы

в темноте мне трогают виски?

Ваша книга – это весть оттуда,

утренняя благостная весть.

Я давно уж не приемлю чуда,

но как сладко слышать: чудо – есть!

Разрываясь от восторга (первые хорошие стихи за жизнь, посвящали много, но

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru плохие) и только с большим трудом забирая в себя улыбку, – домашним, конечно, ни слова! – к концу дня иду к своей единственной приятельнице, старшей меня на двадцать лет и которой я уже, естественно, рассказала первую встречу. Еще в передней молча протягиваю стихи.

Читает:

– “К вам душа так радостно влекома – О, какая веет благодать – От страниц Вечернего Альбома – Почему альбом, а не тетрадь?”

Прерывая:

– Почему – альбом? На это вы ему ответите, что в тетрадку вы пишете в гимназии, а в альбом – дома. У нас в Смольном у всех были альбомы для стихов.

Почему скрывает чепчик черный Чистый лоб, а на глазах – очки?

А, вот видите, он тоже заметил и, действительно, странно: такая молодая девушка, и вдруг в чепце! (Впрочем, бритая было бы еще хуже!) И эти ужасные очки! Я всегда вам говорила... – “я отметил только взгляд покорный и младенческий овал щеки”. – А вот это очень хорошо! Младенческий! То есть на редкость младенческий! “Я лежу сегодня – невралгия – Боль как тихая виолончель – Ваших слов касания благие – И стихи, крылатый взмах качель – Убаюкивают боль. Скитальцы, – Мы живем для трепета тоски...” – Да! Вот именно для трепета тоски! (И вдруг, от слога к слогу все более и более омрачивая и на последнем, как туча):

Чьи прохладно-ласковые пальцы
В темноте мне трогают виски?

Ну вот видите – пальцы... Фу, какая гадость! Я говорю вам: он просто пользуется, что вашего отца нет дома... Это всегда так начинается: пальцы... Мой друг, верните ему это письмо с подчеркнутыми строками и припишите: “Я из порядочного дома и вообще...” Он все-таки должен знать, что вы дочь вашего отца... Вот что значит расти без матери! А вы (заминка), может быть, действительно, от избытка чувств, в полной невинности, погладили его... по... виску? Предупреждаю вас, что они этого совсем не понимают, совсем не так понимают.

– Но – во-первых, я его не гладила, а во-вторых, – если бы даже – он поэт!

– Тем хуже. В меня тоже был влюблен один поэт, так его пришлось – Юлию Сергеевичу – сбросить с лестницы.

Так и ушла с этим неуютным видением будущего: массивного Максимилиана Волошина, летящего с нашей узкой мезонинной лестницы – к нам же в залу.

Дальше – хуже. То есть через день: бандероль, вскрываю: Henri de Regnier, “Les rencontres de Monsieur de Breot” [15].

Восемнадцатый век. Приличный господин, но превращающийся, временами, в фавна. Праздник в его замке. Две дамы-маркизы, конечно, – гуляющие по многолюдному саду и ищущие уединения. Грот. Тут выясняется, что маркизы искали уединения вовсе не для души, а потому, что с утра не переставая пьют лимонад. Стало быть – уединяются. Подымают глаза: у входа в грот, заслоняя солнце и выход, огромный фавн, то есть тот самый Monsieur de Breot.

В негодовании захопываю книгу. Эту – дрянь, эту – мерзость – мне? С книгой в руках и с неизъяснимым чувством брезгливости к этим рукам за то, что такую дрянь держат, иду к своей приятельнице и ввожу ее непосредственно в грот. Вскрикивает, верней, выскакивает, как ожженная.

– Милый друг, это просто – порнография! (Пауза.) За это, собственно, следовало бы сослать в Сибирь, а этого... поэта, во всяком случае, ни в коем случае, не пускайте через порог! (Пауза.) Нечего сказать – маркизы! Вы видите, как я была права! Милый друг, выбросьте эту ужасную книгу, а самого его, с этими (брезгливо) холодными висками... спустите с лестницы! Я вам говорю, как мать, и это же бы вам сказал ваш отец – если бы знал... Бедный Иван Владимирович!

Тотчас же садитесь и пишете: “Милостивый государь” – нет, какой же он государь! – просто без обращения: Москва, число. – После происшедшего между нами – нет, не

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru надо между нами, а то он еще будет хвастаться – тогда так: “Ставлю вас в известность, что после нанесенного мне оскорбления в виде присланного мне порнографического французского романа вы навсегда лишились права преступить порог моего дома. Подпись”. Все.

– По-моему – слишком торжественно. Он будет смеяться. И я совсем не хочу, чтобы он больше ко мне никогда не пришел.

– Ну, как знаете, но предупреждаю вас, что: те стихи, эта книга – а третья будет... словом, он поведет себя как тот Monsieur – как его? – в том... нечего сказать! – гроте.

Мое письмо вышло проще, но не кротче. “Совершенно не понимаю, как вы, зная книги, которые я люблю, решились прислать мне такую мерзость, которую вам тут же, без благодарности, возвращаю”.

На следующий день – явление самого Макса, с большим пакетом под мышкой.

– Вы очень на меня сердитесь?

– Да, я очень на вас сердилась.

– Я не знал, что вам не понравится, вернее, я не знал, что вам понравится, вернее, я так и знал, что вам не понравится – а теперь я знаю, что вам понравится.

И книга за книгой – все пять томов Жозефа Бальзама Дюма, которого, прибавлю, люблю по нынешний день, а перечитывала всего только прошлой зимой – все пять томов, ни страницы не пропустив. На этот раз Макс знал, что мне понравится.

(Выкладывая пятый том:

– Марина Ивановна! Как хорошо, что вы не так пишете, как те, кого вы любите!

– Максимилиан Александрович! Как хорошо, что вы не так себя ведете, как герои тех книг, которые вы любите!)

Чтобы не оставлять ни тени на безупречном друге стольких женских душ и бескорыстном созерцателе, а когда и строителе стольких судеб, чтобы не оставлять ни пятнышка на том солнце, которым был и есть для меня Макс, установлю, что вопреки опасениям моей заботливой и опытной в поэтах приятельницы – здесь и тени не было “развращения малолетних”. Дело несравненно проще и чище. Макс всегда был под ударом какого-нибудь писателя, с которым уже тогда, живым или мертвым, ни на миг не расставался и которого внушал – всем. В данный час его жизни этим живым или мертвым был Анри де Ренье, которого он мне с первой встречи и подарил – как самое дорогое, очередное самое дорогое. Не вышло. Почти что наоборот – вышло. Не только я ни романов Анри де Ренье, ни драм Клоделя, ни стихов Франси Жамма тогда не приняла, а пришлось ему, на двадцатилетие старшему, матёрому, бывалому, проваливаться со мной в бессмертное младенчество од Виктора Гюго и в мое брэнное собственное и бродить со мною рука об руку по пяти томам Бальзамо, шести Мизераблей и еще шести Консуэлы и Графини Рудольштадт Жорж Занд. Что он и делал – с неизбывным терпением и выносливостью, и с только, иногда, очень тяжелыми вздохами, как только собаки и очень тучные люди вздыхают: вздохом всего тела и всей души. Первое недоразумение оказалось последним, ибо первый же том Мемуаров Казановы, с первой же открывшейся страницы, был ему возвращен без всякой обиды, а просто:

– Спасибо: гроты, вроде твоего маркиза, возьми, пожалуйста, – в чем меня очень поддержала мать Максимилиана Волошина, Елена Оттобальдовна.

“В семнадцать лет – Мемуары Казановы, Макс, ты просто дурак!” – “Но, мама, эпоха та же, что в Жозефе Бальзамо и в Консуэле, которые ей так нравятся... Мне казалось...” – “Тебе казалось, а ей не показалось. Ни одной порядочной девушке в семнадцать лет не могут показаться Мемуары Казановы!” – “Но сам Казанова, мама, нравился каждой семнадцатилетней девушке!” – “Дурам, а Марина умная, итальянкам, а Марина – русская. А теперь. Макс, точка”.

Каждая встреча начинается с ошупи, люди идут вслепую, и нет, по мне, худших

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru времен – любви, дружбы, брака – чем пресловутых первых времен. Не худших времен, а более трудных времен, более смутных времен.

Очередной подарок Макса, кроме Консуэлы, Жозефа Бальзамо и Мизераблей – не забыть восхитительной женской книги “Трагический зверинец” и прекрасного Аксёля – был подарок мне живой героини и живого поэта, героини собственной поэмы: поэтессы Черубины де Габриак. Знаю, что многие это имя знают, для тех же, кто не знает, в двух словах:

Жила-была молодая девушка, скромная школьная учительница, Елизавета Ивановна Димитриева, с маленьким физическим дефектом – поскольку помню – хромала. Из ее преподавательской жизни знаю один только случай, а именно вопрос школьникам попечителя округа:

– Ну кто же, дети, ваш любимый русский царь? – и единогласный ответ школьников:

– Гришка Отрепьев!

В этой молодой школьной девушке, которая хромала, жил нескромный, нешкольный, жестокий дар, который не только не хромал, а, как Пегас, земли не знал. Жил внутри, один, сжирая и сжигая. Максимилиан Волошин этому дару дал землю, то есть поприще, этой безымянной – имя, этой обездоленной – судьбу. Как он это сделал? Прежде всего он понял, что школьная учительница такая-то и ее стихи – кони, плащи, шпаги, – не совпадают и не совпадут никогда. Что боги, давшие ей ее сущность, дали ей этой сущности обратное – внешность: лица и жизни. Что здесь, перед лицом его – всегда трагический, здесь же катастрофический союз души и тела. Не союз, а разрыв. Разрыв, которого она не может не сознавать и от которого она не может не страдать, как непрерывно страдали: Джордж Элиот, Шарлотта Бронте, Жюли де Леспинас, Мэри Вебб и другие, и другие, и другие некрасивые любимицы богов. Некрасивость лица и жизни, которая не может не мешать ей в даре: в свободном самораскрытии души. Очная ставка двух зеркал: тетради, где ее душа, и зеркала, где ее лицо и лицо ее быта. Тетради, где она похожа, и зеркала, где она не похожа. Жестокий самосуд ума, сводящийся к двум раскрытым глазам. Я такую себя не могу любить, я с такой собой – не могу жить. Эта – не я.

Это о Елизавете Ивановне Димитриевой между двух зеркал: настольным и настенным, Елизавета Ивановна Димитриева насмерть обиженная бы – даже на острове, без единого человека, Елизавета Ивановна Димитриева наедине сама с собой.

Но есть еще Елизавета Ивановна Димитриева – с людьми. Максимилиан Волошин знал людей, то есть знал всю их беспощадность, ту – людскую, – и, особенно, мужскую – ничем не оправданную требовательность, ту жесточайшую несправедливость, не ищущую в красавице души, но с умницы непременно требующую красоты, – умные и глупые, старые и молодые, красивые и уроды, но ничего не требующие от женщины, кроме красоты. Красоты же – непреложно. Любят красивых, некрасивых – не любят. Таков закон в последней самоедской юрте, за которой непосредственно полюс, и в эстетской приемной петербургского “Аполлона”. Руку на сердце положи, – может школьная, скромная, хромая, может Е. И. Д. оплатить по счету свои стихи? Может Е. И. Д. надеяться на любовь, которую не может не вызвать ее душа и дар? Стали бы, любя ее ту, любить такую? На это отвечу: да. Женщины и большие, совсем большие поэты, да и то – большие поэты! – вспомним Пушкина, любившего неодушевленный предмет – Гончарову. Стало быть, только женщины. Но думает ли молодая девушка о женской дружбе, когда думает о любви, и думает ли молодая девушка о чем-либо другом кроме любви? Такая девушка, с такими стихами...

Следовательно, надежды на любовь к ней в этом ее теле – нет, больше скажу: это ее физическое явление равняется безнадежности на любовь. Напечатай Е. И. Д. завтра же свои стихи, то есть влюбись в них, то есть в нее, весь “Аполлон” – и приди она завтра в редакцию “Аполлона” самолично – такая, как есть, прихрамывая, в шапочке, с муфточкой – весь “Аполлон” почувствует себя обокраденным, и мало разлюбит, ее возненавидит весь “Аполлон”. От оскорбленного: “А я-то ждал, что...” – до снисходительного: “Как жаль, что...” Ни этого “ждал”, ни “жаль” Е. И. Д. не должна прослышать.

Как же быть? Во-первых и в-главных: дать ей самой перед собой быть, и быть целиком. Освободить ее от этого среднего тела – физического и бытового, – дать другое тело: ее. Дать ей быть ею! Той самой, что в стихах, душе дать другую плоть, дать ей тело этой души. Какое же у этой души должно быть тело? Кто, какая

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
женщина должна, по существу, писать эти стихи, по существу, эти стихи писала?

Нерусская, явно. Красавица, явно. Католичка, явно. Богатая, о, несметно богатая, явно (Байрон в женском облики, но даже без хромоты), то есть внешне счастливая, явно, чтобы в полной бескорыстности и чистоте быть несчастной по-своему. Роскошь чисто внутренней, чисто поэтовой несчастности – красоте, богатству, дару вопреки. Торжество самой субстанции поэта: вопреки всему, через все, ни из-за чего – несчастность. И главное забыла: свободная – явно: от страха своего отражения в зеркале приемной “Аполлона” и в глазах его редакторов.

Как же ее будут звать? Черубина родилась в Коктебеле, где тогда гостила Е. И. Д. Однажды, год спустя, держу у Макса на башне какой-то окаменелый корень, принесенный приливом, оставленный отливом.

“А это, что у тебя сейчас в руках, это – Габриак. Его на песке, прямо из волны, взяла Черубина. И мы сразу поняли, что это – Габриак”. – “А Габриак – что?” – “Да тот самый корень, что ты держишь. По нему и стала зваться Черубина”. – “А Черубина откуда?” – “Черубина, то есть женское от Херувим, только мы К заменили Ч, чтобы не совсем от Херувима”. Я, впадая: “Понимаю. От черного Херувима”.

Итак, Черубина де Габриак. Француженка с итальянским именем, либо итальянка с французской фамилией. Единственная дочь, живет в строгой католической семье, где девушки одни не ходят и стихов не пишут, а если пишут – то уж, конечно, не печатают. Гонорара никакого не нужно. В “Аполлон” никогда не придет. Пусть и не пытаются выследить – не выследят никогда, если же выследят – беда и ей, и им. Единственная достоверность: по воскресеньям бывает в костеле, но невидима, ибо поет в хоре. Всё.

Как же все это – “Аполлону”, то есть людям, то есть всему внешнему миру внушить? Как вообще вещи внушают: в нее поверив. Как в себя такую поверить? Заставить других поверить. Круг. И в этом круге, благом на этот раз, постепенное превращение Е. И. Д. в Черубину де Габриак. Написала, – поверила уже буквам нового почерка – виду букв и смыслу слов поверил адресат, – ответу адресата, то есть вере адресата – многоликого адресата, единству веры многих – поверила Е. И. Д. и в какую-то секунду – полное превращение Елизаветы Ивановны Димитриевой в Черубину де Габриак.

– Начнемте, Елизавета Ивановна?

– Начнемте, Максимилиан Александрович!

В редакцию “Аполлона” пришло письмо. Острый отвесный почерк. Стихи. Женские. В листке заложен не цветок, пахучий листок, в бумажном листке – древесный листок. Адрес “До востребования Ч. де Г.”.

В редакцию “Аполлона” через несколько дней пришло другое письмо – опять со стихами, и так продолжали приходиться, переложенные то листком маслины, то тамариска, а редакторы и сотрудники “Аполлона” – как начали, так и продолжали ходить как безумные, влюбленные в дар, в почерк, в имя – неизвестной, скрывшей лицо.

Где-то в Петербурге, через ров рода, богатства, католичества, девичества, гения, в неприступном, как крепость, но достоверном – стоит же где-то! – особняке живет девушка. Эта девушка присылает стихи, ей отвечают цветами, эта девушка по воскресеньям поет в костеле – ее слушают. Увидеть ее нельзя, но не увидеть ее – умереть.

И вот началась эпоха Черубины де Габриак.

Влюбился весь “Аполлон” – имен не надо, ибо носители иных уже под землей – будем брать “Аполлон” как единство, каковым он и был – перестал спать весь “Аполлон”, стал жить от письма к письму весь “Аполлон”, захотел увидеть весь “Аполлон”. Их было много, она – одна. Они хотели видеть, она – скрыться. И вот – увидели, то есть выследили, то есть изобличили. Как лунатика – окликнули и окликом сбросили с башни ее собственного Черубининого замка – на мостовую прежнего быта, о которую разбилась вдребезги.

– Елизавета Ивановна Димитриева – Вы?

– Я.

Одно имя назову – Сергея Маковского, поведшего себя, по словам М. Волошина, безупречным рыцарем, то есть не только не удивившегося ей, такой, а сумевшего убедить ее, что все давно знал, а если не показывал, то только затем, чтобы дать ей, Е. И. Д., самораскрыть себя в Черубине до конца. За этот кровный жест – Сергею Маковскому спасибо.

Это был конец Черубины. Больше она не писала. Может быть, писала, но больше ее никто не читал, больше ее голоса никто не слышал. Но знаю, что ее дружбе с М. В. конца не было. Из стихов ее помню только уцелевшие за двадцатилетие жизни и памяти – строки:

В небе вьется красный плащ, –
Я лица не увидела!
И еще:

Даже Ронсара сонеты
Не разомкнули мне грусть.
Все, что сказали поэты,
Знаю давно наизусть!
И – в ответ на какой-то букет:

И лик бесстыдных орхидей
Я ненавижу в светских лицах!
– образ ахматовский, удар – мой, стихи, написанные и до Ахматовой, и до меня – до того правильно мое утверждение, что все стихи, бывшие, сущие и будущие, написаны одной женщиной – безымянной.

И последнее, что помню:

О, суждено ль, чтоб я узнала
Любовь и смерть в тринадцать лет!
– магически и естественно перекликающееся с моим:

Ты дал мне детство лучше сказки
И дал мне смерть – в семнадцать лет!
С той разницей, что у нее суждено (смерть), а у меня – дай. Так же странно и естественно было, что Черубина, которой я, под непосредственным ударом ее судьбы и стихов, сразу послала свои, из всех них, в своем ответном письме, отметила именно эти, именно эти две строки. Помню узкий лиловый конверт с острым почерком и сильным запахом духов, Черубинины конверт и почерк, меня в моей рожденной простоте скорее оттолкнувшие, чем привлечшие. Ибо я-то, и трижды: как женщина, как поэт и как неэстет любила не гордую иностранку в хорах и на хорах жизни, а именно школьную учительницу Димитриеву – с душой Черубины. Но дело-то ведь для Черубины было – не в моей любви.

Черубина де Габриак умерла два года назад в Туркестане. Не знаю, знал ли о ее смерти Макс.

* * *

Почему я так долго на этом случае остановилась? Во-первых, потому, что Черубина в жизни Макса была не случаем, а событием, то есть он сам на ней долго, навсегда остановился. Во-вторых, чтобы дать Макса в его истой сфере – женских и поэ-товых душ и судеб. Макс в жизни женщин и поэтов был providentiel[16], когда же это, как в случае Черубины, Аделаиды Герцык и моем, сливалось, когда женщина оказывалась поэтом или, что вернее, поэт – женщиной, его дружбе, бережности, терпению, вниманию, поклонению и сотворчеству не было конца. Это был прежде всего человек со-бытийный. Как вся его душа – прежде всего – сосуществование, которое иные, не глубоко глядящие, называли мозаикой, а любители ученых терминов – эклектизмом.

То единство, в котором было всё, и то всё, которое было единством.

Еще два слова о Черубине, последних. Часто слышала, когда называла ее имя:

“Да ведь, собственно, это не она писала, а Волошин, то есть он все исправлял”.

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Другие же: “Неужели вы верите в эту мистификацию? Это просто Волошин писал – под женским и, нужно сказать, очень неудачным псевдонимом”. И сколько я ни оспаривала, ни вскипала, ни скрежетала – “Нет, нет, никакой такой поэтессы Черубины не было. Был Максимилиан Волошин–под псевдонимом”.

Нет обратнее стихов, чем Волошина и Черубины. Ибо он, такой женственный в жизни, в поэзии своей – целиком мужественен, то есть голова и пять чувств, из которых больше всего – зрение. Поэт – живописец и ваятель, поэт – мирозерцатель, никогда не лирик как строй души. И он так же не мог написать стихов Черубины, как Черубина – его. Но факт, что люди были знакомы, что один из них писал и печатался давно, второй никогда, что один – мужчина, другой – женщина, даже факт одной и той же полны в стихах – неизбежно заставляли людей утверждать невозможность куда большую, чем сосуществование поэта и поэта, равенство известного с безвестным, несущественность в деле поэтической силы – мужского и женского, естественность одной и той же полны в стихах при одном и том же полынном местопребывании – Коктебеле, право всякого на одну полын, лишь бы полын выходила разная, и, наконец, самостоятельный Божий дар, ни в каких поправках, кроме собственного опыта, не нуждающийся. “Я бы очень хотел так писать, как Черубина, но я так не умею”, – вот точные слова М. В. о своем предполагаемом авторстве.

Макс больше сделал, чем написал Черубины стихи, он создал живую Черубину, миф самой Черубины. Не мистификация, а мифотворчество, и не псевдоним, а великий аноним народа, мифы творящего. Макс, Черубину создав, остался в тени, – из которой его ныне, за руку, вывожу на белый свет своей любви и благодарности – за Черубину, себя, всех тех, чьих имен не знаю – благодарности.

А вот листочки, которыми Черубина перекладывала стихи, – маслина, тамариск, полын – действительно волошинские, ибо были сорваны в Коктебеле.

Эта страсть М. В. к мифотворчеству было сказалась и на мне.

– Марина! Ты сама себе вредишь избытком. В тебе материал десяти поэтов и сплошь – замечательных!.. А ты не хочешь (вкрадчиво) все свои стихи о России, например, напечатать от лица какого-нибудь его, ну хоть Петухова? Ты увидишь (разгораясь), как их через десять дней вся Москва и весь Петербург будут знать наизусть. Брюсов напишет статью. Яблоновский напишет статью. А я напишу предисловие. И ты никогда (подымает палец, глаза страшные), ни-ког-да не скажешь, что это ты, Марина (умоляюще), ты не понимаешь, как это будет чудесно! Тебя – Брюсов, например, – будет колоть стихами Петухова:

“Вот, если бы г-жа Цветаева, вместо того чтобы воспевать собственные зеленые глаза, обратилась к родимым зеленым полям, как г. Петухов, которому тоже семнадцать лет...” Петухов станет твоей *bete noire* [17], Марина, тебя им замучат, Марина, и ты никогда – понимаешь? никогда! – уже не сможешь написать ничего о России под своим именем, о России будет писать только Петухов, – Марина! ты под конец возненавидишь Петухова! А потом (совсем уж захлебнувшись) нет! зачем потом, сейчас же, одновременно с Петуховым мы создадим еще поэта, – поэтессу или поэта? – и поэтессу и поэта, это будут близнецы, поэтические близнецы, Крюковы, скажем, брат и сестра. Мы создадим то, чего еще не было, то есть гениальных близнецов. Они будут писать твои романтические стихи.

– Макс! – а мне что останется?

– Тебе? Всё, Марина. Всё, чем ты еще будешь! Как умолял! Как обольщал! Как соблазнительно расписывал анонимат такой славы, славу такого анонимата!

– Ты будешь, как тот король, Марина, во владениях которого никогда не заходило солнце. Кроме тебя, в русской поэзии никого не останется. Ты своими Петуховыми и близнецами выживешь всех, Марина, и Ахматову, и Гумилева, и Кузмина...

– и тебя. Макс!

– И меня, конечно. От нас ничего не останется. Ты будешь – все, ты будешь – всё. И (глаза белые, шепот) тебя самой не останется. Ты будешь – те.

Но Максимо мифотворчество роковым образом преткнулось о скалу моей немецкой протестантской честности, губительной гордыни всё, что пишу, – подписывать. А

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru хороший был бы Петухов поэт! А тех поэтических близнецов по сей день оплакиваю.

* * *

Сосуществование поэта с поэтом – равенство известного с неизвестным. Я сама тому живой пример, ибо никто никогда с такой благоговейной бережностью не относился к моим так называемым зрелым стихам, как тридцатилетний М. В. к моим шестнадцатилетним. Так люди считаются только с патентованным, для них – из-за большинства голосов славы – несомненным. Ни в чем и никогда М. В. не дал мне почувствовать преимуществ своего опыта, не говоря уже об имени. Он меня любил и за мои промахи. Как всякого, кто чем-то был. Ничего от мэтра (а времена были сильно мэтровые!), все от спутника. Могу сказать, что он стихи любил совершенно так, как я, то есть как если бы сам их никогда не писал, всей силой безнадежной любви к недоступной силе. И, одновременно, всякий хороший стих слушал, как свой. Всякая, хорошая строка была ему личным даром, как любящему природу – солнечный луч. (“Было, было, было”, – а как это бывшее несравненно больше есть, чем сущее! Как есть навсегда есть! Как бывшего – нет!) Помню одну, только одну его поправку, попытку поправки – за весь толстый “Вечерний альбом” в самом начале знакомства:

И мы со вздохом, в темных лапах,
Сожжем, тоскуя, корабли...

– А вы не думаете, Марина (пауза, выжидательные глаза)... Ивановна, что это немножко трудно – и сложно – сжигать корабли – в темных лапах? что для этого – в лапах – как будто мало места? Причем, несомненно, в медвежьих, то есть очень сильных лапах, которые сильно жмут. Ведь корабли как будто принято сжигать на море, а здесь – медвежьи лапы – явно – лес, дремучий. Трудно же предположить, что медведь расположился с вами на берегу моря, на котором – тут же – горят ваши корабли.

Так это у меня и осталось в памяти: коктебельский пустынный берег, на нем медведь, то есть Макс, со мной, а тут же у берега, чтобы удобнее, целая флотилия кораблей, которые горят.

Еще одно, тоже полушуточное, но здесь скобка о шутке. Я о Максе рассказываю совершенно так же, как Макс о тех, кого любил, и я о Максе – нынче, совершенно так же, как о Максе – вчера, то есть с живой любовью, улыбки не только не боящейся, но часто ее ищущей – как отвода и разряда.

Итак, из всех изустных стихов одного его посещения мне больше всего, до тоски, понравилось такое двустишие:

Вместе в один водоем поглядим ли мы осенью темной.
Сблизятся две головы – три отразятся в воде.

– Максимилиан Александрович, а почему не четыре, ведь каждый вспоминает своего!

– Четыре головы – это было бы две пары, две пары голов скота, и никаких стихов бы не было, – вежливо, но сдержанно ответил Макс.

Сраженная доводом, а еще больше видением четырех рогастых голов в глубине версальского водоема, от поправки отказываюсь. В следующий приход, протягивая ему его же в первый приход подаренную книгу:

– Впишите мне в нее те, ну самые чудные, мои любимые:

“Вместе в один водоем забредем ли мы осенью темной...”

Он негодуя:

– То есть как – забредем, (убежденно) – заглянем! (спохватываясь) – заглядим! – то есть поглядим, конечно, вы меня совсем сбили! (Пауза. Задумчиво.) А вы знаете, это тоже хорошо: забредем, так, кажется, еще лучше...

Я:

– Да, как две коровы, которые забрели и поют (с озарением) – Максимилиан Александрович! Да ведь это же те самые и есть! Две пары голов рогатого скота!

Помню еще, из сразу любимых стихов Макса:

Теперь я мертв, я стал листьями книги,
И можешь ты меня перелистать...
Послушно и внимательно перелистываю и – какая-то пометка, вглядываюсь:

(Демон)

Я, как ты, тяжелый, темный,
И безрылый, как и ты...
Над безрылым, чернилом, увесистое К., то есть бескрылый. Макс этой своей
опечаткой всегда хвастался. Максина книга стихов. Вижу ее, тут же отданную в
ярко-красный переплет, в один том – в один дом – со стихами Аделаиды Герцых.

Не царевич я, похожий
На него – я был иной.
Ты ведь знаешь, я – прохожий,
Близкий всем, всему чужой.
Мы друг друга не забудем,
И, целуя дольний прах,
Понесу я сказку людям
О царевне Таиах.

Эти стихи я слушала двойною болью: оставленной и уходящего, нет, еще третьей
болью: оставшейся в стороне: не мне! А эту царевну Таиах воочию вскоре увидела в
мастерской Макса в коктебеле: огромное каменное египетское улыбающееся женское
лицо, в память которого и была названа та, мне неизвестная, любимая и
оставленная земная женщина.

Но тут уместен один рассказ матери Макса:

– Макс тогда только что женился и вот, приезжает в Коктебель с Маргаритой, а у
нас жила одна дама с маленькой девочкой. Сидим все, обедаем. Девочка смотрит,
смотрит на молодых, то на Макса, то на Маргариту, то опять на Маргариту, то
опять на Макса, и громким шепотом – матери: “Мама! Почему эта царевна вышла
замуж за этого дворника?” А Маргарита, действительно, походила на царевну, во
Флоренции ее на улице просто звали: Ангел!

– И никто не обиделся?

– Никто, Маргарита смеялась, а Макс сиял. От себя прибавлю, что дворник в глазах
трехлетней девочки существо мифическое и на устах трехлетней девочки слово
мистическое. Дворник рубит дрова огромным колуном, на который страшно и
смотреть. Дворник на спине приносит целый лес, дворник топит печи, то есть
играет с огнем огромной железной, которая называется кочерга. А кочерга – это
яга. Дворник стоит по шею в снегу и не замерзает, лопаты у дворника десятеро
больше девочкиной, а сапог выше самой девочки. Дворник и в воде не тонет, и в
огне не горит. Дворник может сделать то, на чем кататься, и то, с чего кататься,
салазки и гору. Дворник, в конце концов, единственное видение мужественности в
глазах девочки того времени. Папа ничего не может, а дворник – всё. Значит,
дворник – великан. А может быть. если рассердится – и людоед. Так, один
трехлетний мальчик, пришедший к нам в гости и упорно не желающий играть в нижних
комнатах: “Убери того белого людоеда!” – “Но какого?” – “С бородой! На меня со
шкафа смотрит! Глаза белые! Убери того страшного дворника!”

Страшный дворник – Зевес.

Я сказала, что стихи Макса я переплела со стихами А. Герцых. Сказать о ней – мой
отдельный живой долг, ибо она в моей жизни такое же событие, как Макс, а я в ее
жизни событие, может быть, больше, чем в жизни Макса. Пока же –

Одно из жизненных призваний Макса было сводить людей, творить встречи и судьбы.
Бескорыстно, ибо случалось, что двое, им сведенные, скоро и надолго забывали
его. К его собственному определению себя как коробейника идей могу прибавить и
коробейника друзей. Убедившись сейчас, за жизнь, как люди на друзей скупы (почти
как на деньги: убудет! мне меньше останется!), насколько всё и всех хотят для
себя, ничего для другого, насколько страх потерять в людях сильнее радости дать,
не могу не настаивать на этом рожденном Максином свойстве: щедрости на самое
дорогое, прямо обратной ревности. Люди, как Плюшкин ржавый гвоздь, и самого
завалящего знакомого от глаз берегут – а вдруг в хозяйстве пригодится? Да,

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru ревности в нем не было никакой – никогда, кроме рвения к богатству ближнего – бывшего всегда. Он так же давал, как другие берут. С жадностью. Давал, как отдавал. Он и свой коктебельский дом, таким трудом добытый, так выколоченный, такой заслуженный, такой его по духовному праву, кровный, внутренне свой, как бы с ним сорожденный, похожий на него больше, чем его гипсовый слепок, – не ощущал своим, физически своим. Комнаты (по смехотворной цене) сдавала Елена Оттобальдовна. Макс физически не мог сдавать комнат друзьям. Еще меньше – чужим. Этот человек, никогда ни перед кем ни за что ни в чем не стеснявшийся, в человеческих отношениях – плававший, стоял перед вами, как малый ребенок или как бык, опустив голову.

– Марина! Я правда не могу. Это невыносимо. Поговори с мамой... Я... – И топот убегающих сандалий по лестнице.

Зато море, степь, горы – три коктебельских стихии и собирательную четвертую – пространство, он ощущал так своими, как никакой кламарский рантье свой “павильон”. Полюнь он произносил как: моя. А Карадаг (название горы) просто как: я. Но одна физическая собственность, то есть собственность признания и физически, у него была: книги. Здесь он был лют. И здесь, и единственно здесь – капризен, давал, что хотел, а не то, что хотел – ты.

“Макс, можно?..” – “Можно, Марина, только уверяю, что тебе не понравится... Возьми лучше...” – “Нет, не понравится, а ты боишься, что слишком понравится и что я, как кончу, буду опять сначала, и так до конца лета”. – “Марина, уверяю тебя, что...” – “Или что замажу в черешнях. Макс, я очень аккуратна”. – “Я знаю, и дело не в том, а в том, что тебе гораздо будет интересней Капитан Фракасс”. – “Но я не хочу Фракасс, я хочу Жанлис. Макс, милый Макс, дорогой Макс, Плюшкин-Макс, ведь ты же ее сейчас не читаешь!” – “Но ты мне обещаешь, что никому не дашь из рук, даже поддержать? Что ты вернешь ее мне не позже как через неделю, здесь же, из рук в руки и в том же виде...” – “Нет, на три секунды раньше и на три страницы толще! Макс, я ее удлиню!”

Давал, голубчик, но со вздохом, вздохом, который был еще слышен на последней ступеньке лестницы. Давал – все, давал – всем. Но сколько выпущенных из рук книг – столько побед над этой единственной из страстей собственничества, для меня священной: страстью к собственной книге. Святая жадность.

* * *

Возвратимся к Аделаиде Герцык. В первую горячую голову нашего с ним схождения он живописал мне ее: глухая, некрасивая, немолодая, неотразимая. Любит мои стихи, ждет меня к себе. Пришла и увидела – только неотразимую. Подружились страстно. Кстати, одна опечатка – и везло же на них Макс! В статье обо мне, говоря о моих старших предшественницах: “древние заплатки Аделаиды Герцык”... “Но, М. А., я не совсем понимаю, почему у этой поэтессы – заплатки? И почему еще и древние?” Макс, сияя: “А это не заплатки, это заплачки, женские народные песни такие, от плача”. А потом А. Герцык мне, философски:

“Милая, в опечатках иногда глубокая мудрость: каждые стихи в конце концов – заплатка на прорехах жизни. Особенно – мои. Слава Богу еще, что древние! Ничего нет плачевнее – новых заплат!”

И вот, может быть год спустя нашего с А. Г. схождения, Макс мне: “Марина! (мы давно уже были на “ты”), а ты знаешь, что я тебя тогда Аделаиде Казимировне – подарил”. – “То есть как?” – “Разве ты не знаешь (глубоко серьезно), что можно дарить людей – без их ведома и что это неизменно удается, то есть что тот, кого ты даришь, становится неотъемлемой духовной собственностью того, кому даришь. Но я тебя в хорошие руки подарил”. – “Макс, а случайно – не продал?” Он, совершенно серьезно: “Нет. А мог бы. Потому что А. Г. очень жадна на души, она тебя у меня целый вечер выпрашивала и очень многих предлагала взамен: и Булгакова, и Бердяева, и какую-то переводчицу с польского. Но они, во-первых, мне были не нужны, а во-вторых, я друзьям друзей только дарю... В конце вечера она тебя получила. Ты довольна?”

Молчание. Он, заискивающе; “я ведь знал, кому тебя дарю. Как породистого щенка – в хорошие руки”. – “Макс, а тебе не жаль?” – “Нет. Мне никогда не жаль и никогда не меньше. (Пауза.) Марина, а тебе – жаль?” – “Макс, я теперь собака – другого садовника!”

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
А как было жаль, как сердце сжалось – от такой свободы, своей от него, его от меня, его от всех. Хотя и расширилось радостью, что А. Г., которая мне так нравилась, меня целый вечер выпрашивала. Сжалось – расширилось – в этом его, сердца, и жизнь.

При первом свидании с Аделаидой Казимировной: “А я теперь знаю, почему вы меня так особенно любите! Нет, нет, не за стихи, не за Германию, не за сходство с собой – и за это, конечно, – но я говорю особенно любите...” – “Говорите!” – “Потому что Макс вам меня подарил. Не смотрите, пожалуйста, такими невинными глазами! Он мне сам рассказал”. – “Марина! (Молчит, переводя дыхание.) Марина! Макс Александрович вас мне не подарил, он вас мне проиграл”. – “Что-о-о?” – “Да, милая. Когда он мне принес вашу книгу, я сразу обнаружила полное отсутствие литературных влияний, а М. А. настаивал на необнаруженном. Мы целый вечер проспорили и в конце держали пари: если М. А. в течение месяца этого влияния не обнаружит, он мне вас проигрывает, как самую любимую вещь. Потому что он вас очень любил, Марина, и еще любит, но только так и поскольку разрешаю – я. Никакого влияния, кроме Наполеона, который не есть влияние литературное, он обнаружить не мог – потому что, я это сразу знала, никакого литературного влияния и не было – и я вас через месяц, день в день, час в час – получила. О, он очень старался вас отстоять, то есть вашего духовного отца изболбить, он даже пытался представить Наполеона, как писателя, ссылаясь на его воззвания к солдатам: “Soldats, du haut de ces pyramides quarante siècles vous regardent...” [18] Но тут я его изболбила и заставила замолчать. Так, милая, вы и сделали моей собственностью. (С неподдельным негодованием:) А сам теперь ходит и хвастается, что подарил... это очень некрасиво”.

Макс стоял на своем. Аделаида Казимировна стояла на своем. Совместно я их спросить как-то не решилась. Может быть, тайно боясь, что вдруг – в порыве великодушия – начнут меня друг другу передаривать, то есть откажутся оба, и опять останусь собака без хозяина либо, по сказке Киплинга, кошка, которая гуляет сама по себе. Так правды я и не узнала, кроме единственной правды своей к ним обоим любви и благодарности. Но – проиграл или подарил – “Передайте Марине”, – писала она в последнем письме тому, кто мне эти слова передал – “что ее книга “Версты”, которую она нам оставила, уезжая, – лучшее, что осталось от России”. Это ответственное напутствие я привожу не из самохвальства, а чтобы показать, что она Максимым подарком – или проигрышем – до конца осталась довольна.

Так они и остались – Максимилиан Волошин и Аделаида Герцык – как тогда сопереpletенные в одну книгу (моей молодости), как ныне и навсегда сплетенные в единстве моей благодарности и любви.

Коктебель

Пятого мая 1911 года, после чудесного месяца одиночества на развалинах генуэзской крепости в Гурзуфе, в веском обществе пятитомного Калиостро и шеститомной Консуэлы, после целого дня певучей арбы по дебрям восточного Крыма, я впервые вступила на коктебельскую землю, перед самым Максимым домом, из которого уже огромными прыжками, по белой внешней лестнице, несся мне навстречу – совершенно новый, неузнаваемый Макс. Макс легенды, а чаще сплетни (злостной!). Макс, в кавычках, “хитона”, то есть попросту длинной полотняной рубашки, Макс сандалий, почему-то признаваемых обывателем только в виде иносказания “не достоин развязать ремни его сандалий” и неизвестно почему страстно отвергаемых в быту – хотя земля та же, да и быт приблизительно тот же, быт, диктуемый прежде всего природой, – Макс полынного веночка и цветной подпояски. Макс широченной улыбки гостеприимства, Макс – Коктебеля.

– А теперь я вас познакомлю с мамой. Елена Оттобальдовна Волошина – Марина Ивановна Цветаева.

Мама: седые отброшенные назад волосы, орлиный профиль с голубым глазом, белый, серебром шитый, длинный кафтан, синие, по шиколотку, шаровары, казанские сапоги. Переложив из правой в левую дымящуюся папиросу: “Здравствуйте!”

Е. О. Волошина, рожденная – явно немецкая фамилия, которую сейчас забыла [19]. Внешность явно германского – говорю германского, а не немецкого – происхождения: Зигфрида, если бы прожил до старости, та внешность, о которой я в каких-то стихах:

– Длинноволосым я и прямоносым

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Германцем славила богов.

(Что для женщины короткие волосы – то для германца длинные.) Или же, то же, но ближе, лицо старого Гёте, явно германское и явно божественное. Первое впечатление – осанка. Царственность осанки. Двинется – рублем подарит. Чувство возвеличенности от одного ее милостивого взгляда. Второе, естественно вытекающее из первого: опаска. Такая не спустит. Чего? Да ничего. Величественность при маленьком росте, величие – изнизу, наше поклонение – сверху. Впрочем, был уже такой случай – Наполеон.

Глубочайшая простота, костюм как прирос, в другом немыслима и, должно быть, неузнаваема: сама не своя, как и оказалось, два года спустя на крестинах моей дочери: Е. О., из уважения к куму – моему отцу – и снисхождения к людским навыкам, была в юбке, а юбка не спасла. Никогда не забуду, как косился старый замоскворецкий батюшка на эту крестную мать, подушку с младенцем державшую, как ларец с регалиями, и вокруг купели выступавшую как бы церемониальным маршем. Но вернемся назад, в начало. Все: самокрутка в серебряном мундштуке, спичечница из цельного сердолика, серебряный обшлаг кафтана, нога в сказочном казанском сапожке, серебряная прядь отброшенных ветром волос – единство. Это было тело именно ее души.

Не знаю, почему – и знаю, почему – сухость земли, стая не то диких, не то домашних собак, лиловое море прямо перед домом, сильный запах жареного барана, – этот Макс, эта мать – чувство, что входишь в Одиссею.

Елена Оттобальдовна Волошина. В детстве любимица Шамиля, доживавшего в Калуге последние дни. “Ты бы у нас первая красавица была, на Кавказе, если бы у тебя были черные глаза”. (Уже сказала – голубые.) Напоминает ему его младшего любимого сына, насильную чужую Калугу превращает в родной Кавказ. Младенчество на коленях побежденного Шамиля – как тут не сделаться Кавалером Надеждой Дуровой или, по крайней мере, не породить поэта! Итак, Шамиль. Но следующий жизненный шаг – институт. Красавица, все обожают. “Поцелуй меня!” – “Дашь третье за обедом – поцелую”. (Целоваться не любила никогда.) К концу обеда перед корыстной бесстрашной красавицей десять порций пирожного, то есть десять любящих сердец. Съев пять, остальными, царственным жестом, одаривала: не тех, кто дали, а тех, кто не дали.

Каникулы дома, где уже ходит в мужском, в мальчишеском – пижам в те времена (шестьдесят лет назад!) не было, а для пиджака, кроме его куцега уродства, была молада.

О ее тогдашней красоте. Возглас матроса, видевшего ее с одесского мола, купающейся: “И где же это вы, такие красивые, родители?!” – самая совершенная за всю мою жизнь словесная дань красоте, древний возглас рыбака при виде Афродиты, возглас – почти что отчаяния! – перекликающийся во мне с недавними строками пролетарского поэта Петра Орешина, идущего полем:

Да разве можно, чтоб фуражки
Пред красотой такой не снять?

Странно, о родителях Е. О. не помню ни слова, точно их и не было, не знаю даже, слышала ли что-нибудь. И отец, и мать для меня покрыты орлиным крылом Шамиля. Его сын, не их дочь.

После института сразу, шестнадцати лет, замужество. Почему так сразу и именно за этого, то есть больше чем вдвое старшего и совсем не подходящего? Может быть, здесь впервые обнаруживается наличие родителей. Так или иначе, выходит замуж и в замужестве продолжает ходить – тонкая, как тростинка – в мальчишеском, удивляя и забавляя соседей по саду. Дело в Киеве, и сады безмерные.

Вот ее изустный рассказ:

– Стою на лесенке в зале и белю потолок – я очень любила белить сама – чтобы не замазаться, в похуже – штанах, конечно, и в похуже – рубашке. Звонок. Кого-то вводят. Не оборачивая головы, белю себе дальше. К Максиму отцу много ходили, не на всех же смотреть.

“Молодой человек!” – не оборачиваюсь. – “А молодой человек?” Оборачиваюсь. Какой-то господин, уже в годах. Гляжу на него с лестницы и жду, что дальше. “Соблаговолите передать папаше... то-то и то-то...” – “С удовольствием”. Это он

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru меня не за жену, а за сына принял. Потом рассказываю Максину отцу – оказался его добрым знакомым. “Какой у вас сынок шустрый, и все мое к вам дело передал толково, и белит так славно”. Максин отец – ничего. “Да, – говорит, – ничего себе паренек”. (Кстати, никогда не говорила муж, всегда – Максин отец, точно этим указывая точное его значение в своей жизни – и назначение.) Сколько-то там времени прошло – у нас парадный обед, первый за мою бытность замужем, все Максинаго отца сослуживцы. Я, понятно: уже не в штанах, а настоящей хозяйкой дома: и рюши, и буфы, и турнюр на заду – все честь честью. Один за другим подходят к ручке. Максин отец подводит какого-то господина:

“Узнаешь?” Я-то, конечно, узнаю – тот самый, которого я чуть было заодно не побелила, а тот: “Разрешите представиться”. А Максин отец ему: “Да что ты, что ты! Давно знакомы”. – “Никогда не имел чести”. – “А сынишку моего на лестнице помнишь, потолок белил? Она – самый”. Тот только рот раскрыл, не дышит, вот-вот задохнется. “Да я, да оне, да простите вы меня, сударыня, ради Бога, где у меня глаза были?” – “Ничего, – говорю, – там где следует”. Целый вечер отдышаться не мог!

Из этой истории заключаю, что рожденная страсть к мистификации у Макса была от обоих родителей. Языковой же дар – явно от матери. Помню, в первое коктейбельское лето, на веранде, ее возмущенный голос:

– Как ужасно нынче стали говорить! Вот Лиля и Вера, – ведь не больше, как на двести слов словарь, да еще как они эти слова употребляют! Рассказывает недавно Лиля о каком-то своем знакомом, ссыльном каком-то: “И такой большой, печальный, интеллигентный глаз...” Ну, как глаз может быть интеллигентным? И все у них интеллигентное, и грудной ребенок с интеллигентным выражением, и собака с интеллигентной мордой, и жандармский полковник, с интеллигентными усами... Одно слово на всё, да и то не русское, не только не русское, а никаковское, ведь по-французски *intelligent* – умный. Ну, вы, Марина, знаете, что это такое?

– Футляр для очков.

– И вовсе не футляр! Зачем вам немецкое искаженное *Futteral*, когда есть прекрасное настоящее русское слово – очешник. А еще пишете стихи! На каком языке?

Но вернемся к молодой Е. О. Потеряв первого ребенка – обожаемую, свою, тоже девочку-мальчика, четырехлетнюю дочку Надю, по которой тосковала до седых и белых волос, Е. О., забрав двухлетнего Макса, уходит от мужа и селится с сыном – кажется, в Кишиневе. Служит на телеграфе. Макс дома, с бабушкой – ее матерью. Помню карточку в коктейбельской комнате Е. О., на видном месте: старинный мальчик или очень молодая женщина являют миру стоящего на столе маленького Геракла или Зевеса – как хотите, во всяком случае нечто совсем голое и очень кудрявое.

Два случая из детского Макса. (Каждая мать сына, даже если он не пишет стихов, немного мать Гёте, то есть вся ее жизнь о нем, том, рассказы; и каждая молодая девушка, даже если в этого Гёте не влюблена, при ней – Беттина на скамеечке.)

Жили бедно, игрушек не было, разные рыночные. Жили – нищенски. Вокруг, то есть в городском саду, где гулял с бабушкой, – богатые, счастливые, с ружьями, лошадами, повозками, мячиками, кнутиками, вечными игрушками всех времен. И неизменный вопрос дома:

– Мама, почему у других мальчиков есть лошади, а у меня нет, есть вожжи с бубенчиками, а у меня нет? На который неизменный ответ:

– Потому что у них есть папа, а у тебя нет. И вот после одного такого папы, которого нет, – длительная пауза и совершенно отчетливо:

– Женитесь.

Другой случай. Зеленый двор, во дворе трехлетний Макс с матерью.

– Мама, станьте, пожалуйста, носом в угол и не оборачивайтесь.

– Зачем?

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
– Это будет сюрприз. Когда я скажу можно, вы обернетесь! Покорная мама орлиным носом в каменную стену. Ждет, ждет:

– Макс, ты скоро? А то мне надоело!

– Сейчас, мама! Еще минутка, еще две. – Наконец: – Можно! Оборачивается. Плывающая улыбкой и толщиной трехлетняя упоительная морда.

– А где же сюрприз?

– А я (задохновение восторга, так у него и оставшееся) к колодцу подходил – до-олго глядел – ничего не увидел.

– Ты просто гадкий непослушный мальчик! А где же сюрприз?

– А что я туда не упал.

Колодец, как часто на юге, просто четырехугольное отверстие в земле, без всякой загородки, квадрат провала. В такой колодец, как и в тот наш совместный водоем, действительно можно забрести. Еще случай. Мать при пятилетнем Максe читает длинное стихотворение, кажется, Майкова, от лица девушки, перечисляющей все, чего не скажет любимому: “Я не скажу тебе, как я тебя люблю, я не скажу тебе, как тогда светили звезды, освещая мои слезы, я не скажу тебе, как обмирало мое сердце, при звуке шагов – каждый раз не твоих, я не скажу тебе, как потом взошла заря”, и т. д. и т. д. Наконец – конец. И пятилетний, глубоким вздохом:

– Ах, какая! Обещала ничего не сказать, а сама все взяла да и рассказала!

Последний случай дам с конца. Утро. Мать, удивленная долгим неприходом сына, входит в детскую и обнаруживает его спящим на подоконнике.

– Макс, что это значит? Макс, рыдая и зевая:

– Я, я не спал! Я – ждал! Она не прилетала!

– Кто?

– Жар-птица! Вы забыли, вы мне обещали, если я буду хорошо вести себя...

– Ладно, Макс, завтра она непременно прилетит, а теперь – идем чай пить.

На следующее утро – до-утро, ранний или очень поздний прохожий мог бы видеть в окне одного из белых домов Кишинева, стойком, как на цоколе – лбом в зарю – младенческого Зевеса в одеяле, с прильнувшей у изножья, другой головой, тоже кудрявой. И мог бы услышать – прохожий – но в такие времена, по слову писателя, не проходит никто:

“Si quelqu’un etait venu a passer... Mais il ne passe jamais personne...”[20]
И мог бы услышать прохожий:

– Ма-а-ма! Что это?

– Твоя Жар-птица, Макс, – солнце!

Читатель, наверное, уже отметил прелестное старинное Максимо “Вы” матери – перенятое им у нее, из ее обращения к ее матери. Сын и мать уже при мне выпили на брудершафт: тридцатишестилетний с пятидесятишестилетней – чокнулись, как сейчас вижу, коктейльным напитком ситро, то есть попросту лимонадом. Е. О. при этом пела свою единственную песню – венгерский марш, сплошь из согласных.

Думаю, что те из читателей, знавшие Макса и Е. О. лично, ждут от меня еще одного ее имени, которое сейчас произнесу:

Пра – от прабабушки, а прабабушка не от возраста – ей тогда было пятьдесят шесть лет, – а из-за одной грандиозной мистификации, в которой она исполняла роль нашей общей прабабки, Кавалерственной Дамы Кириенко (первая часть их с Максимо фамилии) – о которой, мистификации, как вообще о целом мире коктейльного первого лета, когда-нибудь отдельно, обстоятельно и увлекательно расскажу.

Но было у слова Пра другое происхождение, вовсе не шутивное – Праматерь, Матерь здешних мест, ее орлиным оком открытых и ее трудовыми боками обжитых. Верховод всей нашей молодости. Прародительница Рода – так и не осуществившегося, Праматерь – Матриарх – Пра.

Никогда не забуду, как она на моей свадьбе, в большой приходской книге, в графе свидетели, неожиданно и неудержимо через весь лист – подмахнула:

“Неутешная вдова Кириенко-Волошина”.

В ней неизменно играло то, что немцы называют Einfall (“в голову пришло”), и этим она походила, на этот раз, уже на мать Гёте, с которым вместе Макс любовно мог сказать:

Von Mutterchen – die Frohnatur
Und Lust zum Fabulieren.[21]

А сколько я еще не рассказала! О ней бы целую книгу, ибо она этой целой книгой – была, целым настоящим Bilderbuch’ом[22] для детей и поэтов. Но помимо ее человеческой и всяческой исключительности, самоценности, неповторимости – каждая женщина, вырастившая сына одна, заслуживает, чтобы о ней рассказали, независимо даже от удачности или неудачности этого рращения. Важна сумма усилий, то есть одинокий подвиг одной – без всех, стало быть – против всех. Когда же эта одинокая мать оказывается матерью поэта, то есть высшего, что есть после монаха – почти пустытника и всегда мученика, всякой хвалы – мало, даже моей.

На какие-то деньги, уж не знаю, какие, во всяком случае, нищенские, именно на гроши, Е. О. покупает в Коктебеле кусок земли, и даже не земли, а взморья. Макс на велосипеде ездит в феодосийскую гимназию, восемнадцать верст туда, восемнадцать обратно. Коктебель – пустыня. На берегу только один дом – волошинский. Сам Коктебель, то есть болгарско-татарская деревня этого наименования, за две версты, на шоссе. Е. О. ставит редким проезжающим самовары и по вечерам, от неизбывного одиночества, выходит на пустынный берег и воет. Макс уже печатается в феодосийском листке, за ним уже слава поэта и хвост феодосийских гимназисток:

– Поэт, скажите экспромт!

Е. О. В. никогда больше не вышла замуж. Это не значит, что она никого не любила, это значит, что она очень любила Макса, больше любимого и больше себя тоже. Отняв у сына отца – дать ему вотчима, сына обратить в пасынка, собственного сына в чужого пасынка, да еще такого сына, без когтей и со стихами... Были наезды какого-то стройного высокого всадника, были совместные и, нужно думать, очень высокие верховые прогулки в горы. Был, очевидно, последний раз: “Да?” – “Нет!” – после которого высокий верховой навсегда исчез за поворотом. Это мне рассказывали феодосийские старожилы и даже называли имя какого-то иностранца. Увез бы в свою страну, была бы – кто знает – счастливой... но – Максимилиан Александрович того приезжего терпеть не мог, – это говорит старожил, от которого все это слышала, – всех любил, ко всем был приветлив, а с этим господином сразу не пошло. И господин этот его тоже не любил, даже презирал за то, что мужского в нем мало: и вина не пьет, и верхом не ездит, разве что на велосипеде... А к стихам этот господин был совсем равнодушен, он и по-русски неважно говорил, не то немец, не то чех. Красавец зато! Так и остались М. А. с мамашей, одни без немца, а зато в полном согласии и без всяких неприятностей.

Это была неразрывная пара, и вовсе не дружная пара. Вся мужественность, данная на двоих, пошла на мать, вся женственность – на сына, ибо элементарной мужественности в Максе не было никогда, как в Е. О. элементарной женственности. Если Макс позже являл чудеса бесстрашия и самоотверженности, то являл их человек и поэт, отнюдь не муж (воин). Являл в делах мира (перемирия), а не в делах войны. Единственное исключение – его дуэль с Гумилевым из-за Черубины де Габриаки, чистая дуэль защиты. Воина в нем не было никогда, что особенно огорчало воительницу душой и телом – Е. О.

– Погляди, Макс, на Сережу, вот – настоящий мужчина! Муж. Война – дерется. А ты? Что ты. Макс, делаешь?

– Мама, не могу же я влезть в гимнастерку и стрелять в живых людей только

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru потому, что они думают, что думают иначе, чем я.

– Думают, думают. Есть времена. Макс, когда нужно не думать, а делать. Не думая – делать.

– Такие времена, мама, всегда у зверей – это называется животные инстинкты.

Настолько не воин, что ни разу не рассорился ни с одним человеком из-за другого. Про него можно сказать, “*qu’il n’epousait pas les querelles de ses amis*”[23].

В начале дружбы я часто на этом с ним сшибалась, расшибалась – о его неуязвимую мягкость. Уже без улыбки и как всегда, когда был взволнован, подымая указательный палец, даже им грозя:

– Ты не понимаешь, Марина. Это совсем другой человек, чем ты, у него и для него иная мера. И по-своему он совершенно прав – так же, как ты – по-своему.

Вот это “прав по-своему” было первоосновой его жизни с людьми. Это не было ни мало-, ни равно-душие, утверждаю, не малодушие, потому что всего, что в нем было, было много – или совсем не было, и не равнодушие, потому что у него в миг такого средостояния душа раздваивалась на целых и цельных две, он был одновременно тобою и твоим противником и еще собою, и все это страстно, это было не двоедушие, а вседушие, и не равнодушие, а некое равенство всего существа, то солнце полдня, которому всё иначе и верно видно.

О расчете говорить нечего. Не став ни на чью сторону, или, что то же, став на обе, человек чаще осужден обеими. Ведь из довода: “он так же прав, как ты” – мы, кто бы мы ни были, слышим только: он прав и даже: он прав, настолько, когда дело идет о нас, равенства в правоте нету. Не становясь на сторону мою или моего обидчика, или, что то же, становясь на сторону и его, и мою, он просто оставался на своей, которая была вне (поля действия и нашего зрения) – внутри него и *au-dessus de la mêlée*[24].

Ни один человек еще не судил солнце за то, что оно светит и другому, и даже Иисус Навин, остановивший солнце, остановил его и для врага. Человек и его враг для Макса составляли целое:

мой враг для него был часть меня. Вражду он ощущал союзом. Так он видел и германскую войну, и гражданскую войну, и меня с моим неизбывным врагом – всеми. Так можно видеть только сверху, никогда сбоку, никогда из гущи. А так он видел не только чужую вражду, но и себя с тем, кто его мнил своим врагом, себя – его врагом. Вражда, как дружба, требует согласия (взаимности). Макс на вражду своего согласия не давал и этим человека разоружал. Он мог только противостоять человеку, только предстоянием своим он и мог противостоять человеку: злу, шедшему на него.

Думаю, что Макс просто не верил в зло, не доверял его якобы простоте и убедительности: “Не всё так просто, друг Горацио...” Зло для него было тьмой, бедой, напастью, гигантским недоразумением – *du bien mal entendu*[25] – чьим-то извечным и нашим ежечасным недосмотром, часто – просто глупостью (в которую он верил) – прежде всего и после всего – слепостью, но никогда – злом. В этом смысле он был настоящим просветителем, гениальным окулистом. Зло – бельмо, под ним – добро.

Всякую занесенную для удара руку он, изумлением своим, превращал в опущенную, а бывало, и в протянутую. Так он в одно мгновение ока разоружил злопыхавшего на него старика Репина, отошедшего от него со словами: “Такой образованный и приятный господин – удивительно, что он не любит моего Иоанна Грозного!” и будь то данный несостоявшийся наскок на него Репина, или мой стакан – через всю террасу – в дерзкую актрису, осмелившуюся обозвать Сару Бернар старой кривлякой, или, позже, распря русских с немцами, или, еще позже, белых с красными. Макс неизменно стоял вне: за каждого и ни против кого. Он умел дружить с человеком и с его врагом, причем никто никогда не почувствовал его предателем, себя – преданным, причем каждый (вместе, как порознь) неизменно чувствовал всю исключительную его, М. В., преданность ему, ибо это – было. Его дело в жизни было – сводить, а не разводить, и знаю, от очевидцев, что он не одного красного с белым человечески свел, хотя бы на том, что каждого, в свой час, от другого спас. Но об этом позже и громче.

Миротворчество М. В. входило в его мифотворчество: мифа о великом, мудром и добром человеке.

Если каждого человека можно дать пластически, Макс – шар, совершенное видение шара: шар универсума, шар вечности, шар полдня, шар планеты, шар мяча, которым он отпрыгивал от земли (походка) и от собеседника, чтобы снова дать ему в руки, шар шара живота, и молния, в минуты гнева, вылетающая из его белых глаз, была, сама видела, шаровая.

Разбейся о шар. Поссорься с Максом.

Да, земной шар, на котором, как известно, горы, и высокие, бездны, и глубокие, и который все-таки шар. И крутился он, бесспорно, вокруг какого-то солнца, от которого и брал свой свет, и давал свой свет. Спутничество: этим продолжительным, протяжным словом дан весь Макс с людьми – и весь без людей. Спутник каждого встречного и, отрываясь от самого близкого, – спутник неизвестного нам светила. Отдаленность и неуклонность спутника. То что-то, вечно стоявшее между его ближайшим другом и им и ощущаемое нами почти как физическая преграда, было только – пространство между светилом и спутником, то уменьшавшееся, то увеличивавшееся, но неуклонно уменьшавшееся и увеличивавшееся, ни на пядь ближе, ни на пядь дальше, а в общем все то же. То равенство притяжения и отдаления, которое, обрекая друг на друга два небесных тела, их неизменно и прекрасно рознит.

* * *

Помню, относительно его планетарности, в начале встречи – разминование. В ответ на мое извещение о моей свадьбе с Сережей Эфроном Макс прислал мне из Парижа, вместо одобрения или, по крайней мере, ободрения – самые настоящие соболезнования, полагая нас обоих слишком настоящими для такой лживой формы общей жизни, как брак. Я, новообращенная жена, вскипела: либо признавай меня всю, со всем, что я делаю и сделаю (и не то еще сделаю!) – либо... И его ответ: спокойный, любящий, бесконечно-отрешенный, непоколебимо-уверенный, кончавшийся словами: “Итак, до свидания – до следующего перекрестка!” – то есть когда снова попаду в сферу его влияния, из которой мне только кажется – вышла, то есть совершенно как светило – спутнику. Причем – умилительная наивность! – в полной чистоте сердца неизменно воображал, что спутник в человеческих жизнях – он. Сказанного, думаю, достаточно, чтобы не объяснять, почему он никогда не смог стать попутчиком – ни тамшним, ни здешним.

Макс принадлежал другому закону, чем человеческому, и мы, попадая в его орбиту, неизменно попадали в его закон. Макс сам был планета. И мы, крутившиеся вокруг него, в каком-то другом, большем круге, крутились совместно с ним вокруг светила, которого мы не знали.

Макс был знающий. У него была тайна, которой он не говорил. Это знали все, этой тайны не узнал никто. Она была в его белых, без улыбки, глазах, всегда без улыбки – при неизменной улыбке губ. Она была в нем, жила в нем, как постороннее для нас, однородное ему – тело. Не знаю, сумел ли бы он сам ее назвать. Его поднятый указательный палец: это не так! – с такой силой являл это так, что никто, так и не узнав этого так, в существовании его не сомневался. Объяснять эту тайну принадлежностью к антропософии или занятиями магией – не глубоко. Я много штейнерианцев и несколько магов знала, и всегда впечатление: человек – и то, что он знает; здесь же было единство. Макс сам был эта тайна, как сам Рудольф Штейнер – своя собственная тайна (тайна собственной силы), не оставшаяся у Штейнера ни в писаниях, ни в учениках, у М. В. – ни в стихах, ни в друзьях, – самотайна, унесенная каждым в землю.

– Есть духи огня, Марина, духи воды, Марина, духи воздуха, Марина, и есть, Марина, духи земли.

Идем по пустынному уступу, в самый полдень, и у меня точное чувство, что я иду – вот с таким духом земли. Ибо каким (дух, но земли), кроме как вот таким, кем, кроме как вот этим, дух земли еще мог быть!

Макс был настоящим чадом, порождением, исчадием земли. Раскрылась земля и породила: такого, совсем готового, огромного гнома, дремучего великана, немножко

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru быка, немножко Бога, на коренастых, точеных как кегли, как сталь упругих, как столбы устойчивых ногах, с аквамаринами вместо глаз, с дремучим лесом вместо волос, со всеми морскими и земными солями в крови (“А ты знаешь, Марина, что наша кровь – это древнее море...”), со всем, что внутри земли кипело и остыло, кипело и не остыло. Нутро Макса, чувствовалось, было именно нутром земли.

Макс был именно земнородным, и все притяжение его к небу было именно притяжением к небу – небесного тела. В Максе жила четвертая, всеми забываемая стихия – земли. Стихия континента: сушь. В Максе жила масса, можно сказать, что это единоличное явление было именно явлением земной массы, гущи, толщи. О нем, как о горах, можно было сказать: массив. Даже физическая его масса была массивом, чем-то непрорубным и неразрывным. Есть аэролиты небесные. Макс был – земной монолит, Макс был именно обратным мозаике, то есть монолитом. Не составленным, а сорожденным. Это одно было создано из всего. По-настоящему сказать о Максе мог бы только геолог. Даже черепная коробка его, с этой неистойвой, неистойимой растительностью, которую даже волосами трудно назвать, физически ощущалась как поверхность земного шара, отчего-то и именно здесь разразившаяся таким обилием. Никогда волосы так явно не являли принадлежности к растительному царству. Так, как эти волосы росли, растет из трав только мята, полынь, ромашка, всё густое, сплошное, пружинное, и никогда не растут волосы. Растут, но не у обитателей нашей средней полосы, растут у целых народов, а не у индивидуумов, растут, но черные, никогда – светлые. (Росли светлые, но только у богов.) И тот полынный жгут на волосах, о котором уже сказано, был только естественным продолжением этой шевелюры, ее природным завершением и пределом.

– Три вещи, Марина, вьются: волосы, вода, листва. Четыре, Марина, – пламя.

О пламени. Рассказ. Кто-то из страстных поклонников Макса, в первый год моего с Максом знакомства, рассказал мне почти шепотом, что:

...в иные минуты его сильной сосредоточенности от него, из него – кончиков пальцев и кончиков волос – было пламя, настоящее, жгущее. Так, однажды за его спиной, когда он сидел и писал, загорелся занавес.

Возможно. Стоял же над Екатериной Второй целый столб искр, когда ей чесали голову. А у Макса была шевелюра – куда екатерининской! Но я этого огня не видела никогда, потому не настаиваю, кроме того, такой огонь, от которого загорается занавес, для меня не в цене, хотя бы потому, что вместо и вместе с занавесом может неожиданно спалить тетрадь с тем огнем, который для меня только один и в цене. На огне не настаиваю, на огнеиспускаемости Макса не настаиваю, но легенды этой не упускаю, ибо каждая – даже басня о нас – есть басня именно о нас, а не о соседе. (Низкая же лодка – автопортрет самого лжеца.)

Выскакивал или не выскакивал из него огонь, этот огонь в нем был – так же достоверно, как огонь внутри земли. Это был огромный очаг тепла, физического тепла, такой же достоверный тепловой очаг, как печь, костер, солнце. От него всегда было жарко – как от костра, и волосы его, казалось, так же тихонько, в концах, трещали, как трещит хвоя на огне. Потому, казалось, так и вились, что горели (сrepitement[26]). Не могу достаточно передать очарования этой физики, являвшейся целой половиной его психики, и, что важнее очарования, а в жизни – очарованию прямо обратно – доверия, внушаемого этой физикой.

О него всегда хотелось потереться, его погладить, как огромного кота, или даже медведя, и с той же опаской, так хотелось, что, несмотря на всю мою семнадцатилетнюю робость и дикость, я однажды все-таки не вытерпела: “М. А., мне очень хочется сделать одну вещь...” – “Какую вещь?” – “Погладить вас по голове...” – Но я и договорить не успела, как уже огромная голова была добросовестно подставлена моей ладони. Провожу раз, провожу два, сначала одной рукой, потом обеими – и изнизу сияющее лицо: “Ну что, понравилось?” – “Очень!” И, очень вежливо и сердечно: “Вы, пожалуйста, не спрашивайте. Когда вам захочется – всегда. Я знаю, что многим нравится”, – объективно, как о чужой голове. У меня же было точное чувство, что я погладила вот этой ладонью – гору. Взлобье горы.

Взлобье горы. Пишу и вижу: справа, ограничивая огромный коктебельский залив, скорее разлив, чем залив, – каменный профиль, уходящий в море. Максин профиль. Так его и звали. Чужие дачники, впрочем, попробовали было приписать этот профиль Пушкину, но ничего не вышло, из-за явного наличия широченной бороды, которой

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru профиль и уходил в море. Кроме того, у Пушкина головка была маленькая, эта же голова явно принадлежала огромному телу, скрытому под всем Черным морем. Голова спящего великана или божества. Вечного купальщика, как залезшего, так и не вылезшего, а вылезшего бы – пустившего бы волну, смывшую бы все побережье. Пусть лучше такой лежит. Так профиль за Максом и остался.

Скобка о руке

Когда я писала о том, как гладила Макса, я невольно поглядела на свою руку и вспомнила, как, в одно из наших первых прощаний. Макс – мне:

– М. И., почему вы даете руку так, точно подкидываете мертвого младенца? Я, с негодованием:

– То есть? Он, спокойно:

– Да, да, именно мертвого младенца – без всякого пожатия, как посторонний предмет. Руку нужно давать открыто, прижимать вплоть, всей ладонью к ладони, в этом и весь смысл рукопожатия, потому что ладонь – жизнь. А не подсовывать как-то боком, как какую-то гадость, ненужную ни вам, ни другому. В вашем рукопожатии отсутствие доверия, просто обидеться можно. Ну дайте мне руку, как следует! Руку дайте, а не...

Я, подавая:

– Так? Он сияя:

– Так!

Максу я обязана крепостью и открытостью моего рукопожатия и с ними пришедшему доверию к людям. Жила бы, как прежде, – не доверяла бы, как прежде, может быть, лучше было бы – но хуже. И, чтобы кончить о руке, один Максин возглас, дающий весь тон наших отношений:

Марина! Почему у тебя рука так удивительно похожа на заднюю ногу Одноглаза?!

* * *

Макс с мифом был связан и через коктебельскую землю – киммерийскую, родину амазонок. Недаром его вечная мечта о матриархате. Вот, со слов очевидца, разговор в 1920 году, накануне разгрома Крыма. Феодосийский обыватель: “М. А., вы, который все знаете, чем же все это кончится?” Макс, спокойно:

“Матриархатом”. Феодосиец, испуганно: “Как?” Макс невозмутимо: “Просто, вместо патриарха будет матриарх”. Шутка, конечно, ибо что же иное ответить, когда к тебе идут, как к гадалке, но, как та легенда о сгоревшем занавесе, – не случайная шутка. О женском владычестве слышала от Макса еще в 1911 году, до всяких германских и гражданских войн.

Киммерия. Земля входа в Аид Орфея. Когда Макс, полдневными походами, рассказывал мне о земле, по которой мы идем, мне казалось, что рядом со мной идет – даже не Геродот, ибо Геродот рассказывал по слухам, шедший же рядом повествовал, как свой о своем.

Тайновидчество поэта есть прежде всего очевидчество: внутренним оком – всех времен. Очевидец всех времен есть тайновидец. И никакой тут “тайны” нет.

Этому, по полицейским и литературным паспортам, тридцатилетнему французскому модернисту в русской поэзии было, по существу, много тысяч лет, те много тысяч лет назад, когда природа, создав человека и коня, женщину и рыбу, не окончательно еще решила, где конец человеку, где коню, где женщине, где рыбе, – своих творений не ограничила. Макс мифу принадлежал душой и телом куда больше, чем стихами, которые скорее являлись принадлежностью его сознания. Макс сам был миф.

* * *

Макс, я. На веслах турки-контрабандисты. Лодка острая и быстрая: рыба-пила. Коктебель за много миль. Едем час. Справа (Максино определение, – счастлива, что

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru сохранила) реймские и шартрские соборы скал, чтобы увидеть вершины которых, необходимо свести затылок с уровнем моря, то есть опрокинуть лодку – что бы и случилось, если бы не противовес Макса: он на носу, я на корме. Десятисаженный грот: в глубокую грудь скалы.

– А это, Марина, вход в Аид. Сюда Орфей входил за Эвридикой. – Входим и мы. Света нет, как не было и тогда, только искры морской воды, забрасываемой нашими веслами на наседающие, наседающие и все-таки расступающиеся – как расступились и тогда – базальтовые стены входа. Конца гроту, то есть выхода входу, не помню; прорезали ли мы скалу насквозь, то есть оказался ли вход воротами, или, повернув на каком-нибудь морском озерце свою рыбу-пилу, вернулись по своим, уже сглаженным следам, – не знаю. Исчезло. Помню только: вход в Аид.

Об Орфее я впервые, ушами души, а не головы, услышала от человека, которого – как тогда решила – первого любила, ибо надо же установить первого, чтобы не быть потом в печальной необходимости признаться, что любила всегда или никогда. Это был переводчик Гераклита и гимнов Орфея. От него я тогда и уехала в Коктебель, не “любить другого”, а не любить – этого. И уже перестрадав, отбив – вдруг этот вход в Аид, не с ним!

И в ответ на мое молчание о нем – так издали – точно не с того конца лодки, а с конца моря:

– В Аид, Марина, нужно входить одному. И ты одна вошла, Марина, я – как эти турки, я не в счет, я только средство, Марина, как эти весла...

Забыла я или не забыла переводчика гимнов Орфея – сама не знаю. Но Макса, введшего меня в Аид на деле, введшего с собой и без себя – мне никогда не забыть. И каждый раз, будь то в собственных стихах или на “Орфее” Глюка, или просто слово Орфей – десятисаженная щель в скале, серебро морской воды на скалах, смех турок при каждом удачном весловом заносе – такой же высокий, как всплеск...

Сколько водили меня по черным ходам жизни, заводили и бросали, – выбирайся как знаешь. Что я в жизни видела, кроме черного хода? и чернейших людских ходов?

А вот что: вход в Аид!

* * *

Еще одно коктебельское воспоминание. Большой поход, на этот раз многолюдный. По причуде бесед и троп и по закону всякой русской совместности, отбились, разбрелись, и вот мы с Максом, после многочасового восхождения – неизвестно на какой высоте над уровнем моря, но под самым уровнем неба, с которого непосредственно нам на головы льет сильный отвесный дождь, на пороге белой хаты, первой в ряду таких же белых.

– Можно войти переждать грозу?

– Можно, можно.

– Но мы совершенно мокрые.

– Можно ошаг посушить.

Так как снять нам нечего: Макс в балахоне, а я в шароварах, садимся мокрые в самый огонь и скромно ждем, что вот-вот его загасим. Но старушка в белом чепце подбрасывает еще кизяку. Огонь дымит, мы дымимся.

– Как барышня похощ на свой папаш! (Старичок.)

Макс, авторски-скромно:

– Все говорят.

– А папаш (старушка) очень похощ на свой дочк. У вас много дочк?

Макс уклончиво:

– Она у меня старшая.

– А папаш и дочк ошень пошош на свой царь.

Следим за направлением пальца и сквозь дым очага и пар одежд различаем Александра III, голубого и розового, во всю стену.

Макс:

– Этот царь тоже папаш: нынешнего царя и дедушка будущего.

Старичок:

– Как вы хорошо сказали: дэдушк будущий! Дай Бог здорофь и царь, и папаш, и дочк!

Старушка, созерцательно:

– А дочк ф панталон.

Макс:

– Так удобнее лазить по горам.

Старичок, созерцательно:

– А папаш в камизоль.

Макс, опережая вопрос о штанах:

– А давно вы здесь живете?

Старички (в один голос):

– Дафно. Сто и двадцать лет. Колонисты времен Екатерины.

* * *

Полдневных походов было много, больше чем полуночных. Полуночные были приходы – после дня работы и, чаще уединенных, восхождений на Карадаг или другую гору – полуночные приходы к друзьям, рассеянным по всему саду. Я жила в самой глубине. Но тут не миновать коктейбельских собак. Их было много, когда я приехала, когда я пожила, то есть обжилась, их стало – слишком много. Их стало – стаи. Из именных помню Лапко, Одноглаза и Шоколада. Лапко – орфография двойная:

Лапко от лапы и Лобко от лоб, оправдывал только последнюю, от лба, ибо шел на тебя лбом, а лапы не давал. Сплошное: иду на вы. Это был крымский овчар, что то же, огромный волк, порода, которую только в издевку можно приставлять к сторожке овец. Но, слава Богу, овец никаких не было. Был огромный красавец-волк, ничего и никого не стороживший и наводивший страх не на овец, а на людей. Не на меня. Я сразу, при первом его надвигании лбом, взяла его обеими руками за содрогающиеся от рычания челюсти и поцеловала в тот самый лоб, с чувством, что целую, по крайней мере, Этну. К самому концу лета я уже целовала его без рук и в ответ получала лапу. Но каждый следующий приезд – та же гремящая морда под губами, – Лапко меня за зиму забывал наглухо, и приходилось всю науку дружбы вбивать – вцеловывать ему сызнава. Таков был Лапко. Вторым, куда менее казистым, был Одноглаз, существо совершенно розовое от парши и без никаких душевных свойств, кроме страха, который есть свойство физическое. Третий был сын Одноглаза (оказавшегося Одноглазкой – Шоколад, в детстве дивный щенок, позже – дикий урод. Остальных никак не звали, потому что они появлялись только ночью и исчезали с зарей. Таких были – сонмы. Но – именные и безымянные – все они жили непосредственно у моего дома, даже непосредственно у порога. И вот однажды утром, на большой террасе, за стаканом светлого чая с бубликом и даже без бублика (в коктейбеле ели плохо, быстро и мало, так же, как спали). Макс мне: “Марина! Ты знаешь, что я к тебе вечером шел” (вечером на коктейбельском языке означало от полуночи до трех). – “Как – шел?” – “Да, шел и не дошел. Ты расплодила такое невероятное количество... псов, что я всю дорогу шел по живому,

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru то есть по каким-то мертвым телам, которые очень гнусно и грозно рычали. Когда же я наконец протолкался через эту гущу и захотел ступить к тебе на крыльцо, эта гуща встала и разом, очень тихо, оскалила зубы. Ты понимаешь, что после этого...”

Никогда не забуду, как я в полной черноте ночи, со всего размаху кинувшись на раскинутое плетеное кресло, оказалась лежащей не на раскидном кресле, а на огромной собаке, которой тут же была сброшена – и с нее и с шезлонга.

Макс собак не то чтобы любил. Не любил, но убеждена, что без людей с собакой, с тем же Лапко, беседовал совершенно как со мной, вовсе не интонациями, а словами, и не пропуская ни одного. К примеру, выгоняя Одноглаза с плантажа: “Одноглаз! Я тебе советую убираться, пока тебя не видела мама”, – так же подняв палец, не повышая голоса, холодно, как когда выгонял с плантажа мальчишку. И Одноглаз так же слушался, как мальчишка: не от страха мамы, а от священного страха Макса. Для Макса собака была человеком, сам же Макс был больше чем человек. И Одноглаз Макса слушался не как родного Бога, а как чужого Бога. Никогда не помню, чтобы Макс собаку гладил, для него погладить собаку было так же ответственно, как погладить человека, особенно чужого! Лапко, самая надменная, хмурая и несобачья из коктебельских собак, ибо был волк, нехотя, за версту назад, но за Максом – ходил. В горах высоко жили дикие овчары, разрывавшие на части велосипедиста и его велосипед. Когда Макс был вдвое моложе и тоньше, он тоже был велосипедист с велосипедом. И вот однажды – нападение: стая овчаров на велосипед с велосипедистом. А пастух где-то на третьем холму, профилем, в синей пустоте, изваянием, как коза. Овец – ни следу... “Как же ты, Макс, отбился?” – “Не буду же я, в самом деле, драться с собаками! А я с ними поговорил”.

Если Керенского когда-то, в незлую шутку, звали Главноуготоваривающим, то настоящим главноуготоваривающим был Макс – и всегда успешным, ибо имел дело не с толпами, а с человеком, всегда одним, всегда с глазу на глаз: с единственной совестью или тщеславием одного. И будь то комиссар, предводитель отряда или крымский овчар, вожак стаи, – успех был обеспечен.

Уговоры, полагаю, происходили вот как:

Макс, отведя самого лютого в сторону:

– Ты, как самый умный и сильный, скажи, пожалуйста, им, что велосипед, во-первых, невкусен, во-вторых, мне нужен, а им нет. Скажи еще, что очень неприлично нападать на безоружного и одинокого. И еще непременно напомни им, что они овчары, то есть должны стеречь овец, а не волки, – то есть не нападать на людей. Теперь позволь мне пожать твою благородную лапу и поблагодарить за сочувствие (которое, пока что, вожак изъясил только рычанием).

Так ли уж убежден был Макс в человечности овчара или озверевшего красного или белого командира, во всяком случае он их в ней убеждал. Не сомневаюсь, что, когда, годы спустя, к его мирной мифической даче подходили те или иные банды, первым его делом, появившись на вызовы, было длительное молчание, а первым словом: “Я бы хотел поговорить с кем-нибудь одним”, – желание всегда лестное и требование всегда удовлетворимое, ибо во всякой толпе есть некий (а иногда даже несколько), ощущающий себя именно тем одним. Успех его уговоров масс был только взыванием к единственности.

Чтобы кончить о собаках. Два года спустя – я ту зиму жила в Феодосии – редкий праздник явления Макса, во всем тирольском рубчатом – как мельник, или сын мельника, или Кот в сапогах.

– Марина! А я к тебе гостей привел. Угадай! Скорей, скорей! Они очень волнуются.

Выбегаю. За спиной Макса – от крыльца до калитки, в три сторожевых поста, в порядке старшинства и красоты: Лапко – Одноглаз – Шоколад.

– Марина! Ты очень рада? Ты ведь по ним соскучилась? Нужно знать всю непонятность для Макса такого моего скучанья и степень уродства Шоколада и Одноглаза, с которыми ему пришлось идти через весь город, чтобы по достоинству оценить этот приход и привод.

В революцию, в голод, всех моих собак пришлось отравить, чтобы не съели болгары

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru или татары, евские похуже. Лапко участи избежал, ибо ушел в горы – сам умирать. Это я знаю из последнего в Москве письма Макса, того, с которым ходила в Кремль, по вызову Луначарского, доложить о голодающих писателях Крыма.

* * *

К зиме этого собачьего привода относится единственная наша новогодняя встреча с Максом за всю нашу дружбу. Выехали в метель, Сережа Эфрон, моя сестра Ася и я. В такой норд-ост никто бы не повез, а пешком восемнадцать верст и думать нечего – сплошной сногосшиб. И так бы Макс нас и не дождался, если бы не извозчик Адам, знавший и возивший Макса еще в дни его безбородости и половинного веса и с тех пор, несмотря на удвоенный вес и цены на феодосийском базаре, так и не надбавивший цены. Возил, можно сказать, даром – и с жаром. Взгромоздились в податливый разлтый рыдван, Адам накрыл чем мог – поехали. Поехали и стали. Лошади на свежем снегу скользили, колеса не скользили, но чего не могут древнее имя Адам, пара старых коней и трое неустойчивых седоков, которым всем вместе пятьдесят четыре года? Так или иначе, до заставы доехали. Но тут-то и начинались те восемнадцать верст пространства – между нами и Максиной башней, нами и новым 1914 годом. Метель мела, забивала глаза и забивалась не только под кожаный фартук, но и под собственную нашу кожу, даже фартуком не ощущаемую. Норд-ост, ударив в грудь, вылетал между лопаток, ни тела, ни дороги, никакой достоверности не было: было поприще норд-оста. Нет, одна достоверность была: достоверная снеговая стена спины Адама, с появлявшейся временами черно-белой бородой: “что, как, панычи, живы?”

Холодно не было, нечему было, ничего не было, ехали голые веселые души, которым не страшно вывалиться, которым ничего не делается. “Ася!” – “Да, Марина, так будем ехать после смерти!” Ехала, впрочем, еще веская достоверная корзина, с которой все делается и которой есть чем вывалиться. Если мы тогда – все с конями, с повозкой, с Адамом – не сорвались в небо, то только из-за новогоднего фрахта Максиного любимого рислинга, который нужно было довести.

А этот смех! Как метель – мела, так мы от смеха – мотались, как норд-ост – налетал, так смех из нас – вылетал. Метель Вожатого из “Капитанской дочки”. И у Адама та же борода!

Не вывалил норд-ост, не выдал Адам. Дом. Огонь. Макс.

– Сережа! Ася! Марина! Это – невозможно. Это – невероятно.

– Макс, а разве ты забыл:

Я давно уж не приемлю чуда,
Но как сладко видеть: чудо – есть!

* * *

Тройным чудом, то есть тремя мокрыми чудами выпрастываемся из повозки, метели, корзины, вожжей, стоим в жаркой Максиной мастерской, обтекаем лужами. Поим рислингом Адама так же щедро, как он нынче вечером будет поить коней.

Макс совсем один, Е. О. в Москве. Дом нетопленный, ледяной и нежилой – что мрачнее летних мест зимою, прохладных синих от лета белых стен – в мороз? – Море еще ближе, чем было, ворочается у изножья башни, как зверь. Мы на башне. Башня-маяк. Но нужно сказать о башне. Была большая просторная комната, со временем Макс надстроил верх, а потолок снял, – получилась высота в два этажа и в два света. Внизу была мастерская, из которой по внутренней лестнице наверх, в библиотеку, расположенную галереей. Там же Макс на чем-то рыжем, цвета песка и льва, спал. На вышке башни, широкой площадке с перилами, днем, по завистливому выражению дачников, “поклонялись солнцу”, то есть попросту лежали в купальных костюмах, мужчины и дамы отдельно, а по ночам, в той же передаче дачников, “поклонялись луне”, то есть беседовали и читали стихи.

Мастерская пустая, только мольберт и холсты, верх, с подавляющей головою египтянки Таиах, полон до разрыва. Много тысяч томов книг, чуда и дива из всех Максиных путешествий – скромные ежедневные чуда тех стран, где жил: баскский нож, бретонская чашка, самаркандские четки, севильские кастаньеты – чужой обиход, в своей стране делающийся чудом, – но не только людской обиход, и морской, и лесной, и горный, – куст белых кораллов, морская окаменелость, связка

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
фазаньих перьев, природная горка горного хрусталя...

В башне жара. Огромный Макс носится вверх и вниз с чашками без ручек и с ножами без черенков.

– Мама, уезжая, все заперла, чтобы не растащили, а кому растаскивать? – собаки вилками не едят.

– Макс, а где же...

– Все на даче Юнге, потому что, ты знаешь, от меня и объедков не остается (делая страшные глаза): Je mange tout[27]. Пожили, пожили со мною недели две и, видя, что это верная голодная смерть, ушли к Юнге. Просыпаюсь – ни одной.

Красное жерло и вой чугунной печки. Но об этой печке – рассказ. До моего знакомства с Волошиными Е. О. и Макс по летам, когда съезжались, прислуживала пара: татарин и его жена, с татарским именем, в Максинам переводе Животея. Животея эта была старая, тощая и страшная: татарин решил жениться на молодой. Некоторые антропософские девушки, гостившие тогда у Макса, стали татарина угрожать: “Как тебе не стыдно! Она тебе так предана, ты всю жизнь с нею прожил, и теперь хочешь жениться на молодой. Разве молодость важна? Красота важна? Важна душа. Селим, понимаешь. Душа, которая всегда полна и всегда молода!” Татарин слушал, слушал и, поняв, что они указывают ему на то, что он не может внести калыма за невесту: “Твоя правда, баришня, бедному человеку и с душой жить приходится”.

Эта самая душа, с которой бедному человеку приходится жить, была страшная воровка, по-научному сказали бы: клептоманка, по-народному – сорока. Макс задумал ставить печь. Сам купил, сам принес, сам стал ставить. Поставил. Зажег. Весь дым в дом. Ничего, в первый раз, обживется. Но второй и третий день, – дымит, как паровоз! Думал, гадал, главное нюхал, проверил трубы, колена – разгадки нет. И вдруг озарение: Животея! Бежит, бычья опустив голову, в ее камору; лезет под кровать, в самую ее грабилровку, – и в самой глубине – колена, крохотное, не колена, а коленце, самое необходимое, то. “Зачем же ты взяла, Животея? – Молчит. – Зачем оно тебе? – Молчит. – Ты понимаешь, что я из-за тебя мог угореть. У-ме-реть”. Та молча перекачивает на желтом лице черные бусы-глаза. Рассказывают, что Макс от обиды – плакал.

Глядим в красное жерло чугуна, загадываем по Максинам многочитанной Библии на Новый, 1914 год. За трехгранником окна – норд-ост. Море бушует и воет. Печка бушует и воет. Мы на острове. Башня – маяк. У Макса под гигантской головой Таиах его маленькие преданные часики. Что бы они ни показывали – правильно, ибо других часов нет. Еще двадцать минут, еще пятнадцать минут. “Давай погадаем, доехал Адам или нет”. С некоторой натяжкой и в несколько иносказательной форме выходит, что доехал. Еще десять минут. Еще пять. Наполняем и сдвигаем три стакана и одну чашку и пьем за Новый – 1914-й – тогда еще не знали, какой – первый из каких годов – год. И Ася: “Макс, ты не находишь, что странно пахнет?” – “Здесь всегда так пахнет, когда норд-ост”. Читаем стихи. Макс, я. Стихов, как всегда, много, особенно у меня.

И – что это? Из-под пола, на аршин от печки, струечка дыма. Сначала думаем, что замечает из печки. Нет, струечка местная, именно из данного места пола – и странная какая-то, легкими взрывами, точно кто-то, засев под полом, пускает дымные пузыри. Следим. Переглядываемся и, Сережа, внезапно срываясь:

– Макс, да это пожар! Башня горит!

Никогда не забуду ответного, отсутствующего лица Макса, лица, с которого схлынула всякая возможность улыбки, его непонимающих-понимающих глаз, сделавшихся вдруг большими.

– Внизу ведро? Одно?

– Неужели же ты думаешь, Сережа, что можно затушить ведрами?

Мчимся – Сережа, Ася, я – вниз, достаем два ведра и один кувшин, летим, гремя жестью в руках и камнями из-под ног, к морю, врываемся, заливая лестницу – и опять к морю, и опять на башню...

Дым растет, уже два жерла, уже три. Макс, как сидел, так и не двинулся. Внимательно смотрит в огонь, всем телом и всей душой. Этот пожар – конец всему. В секундный перерыв между двумя прибегами, кто-то из нас:

– Да неужели ты не понимаешь, что сгореть не может. Ну?? И – в ответ – первый проблеск жизни в глазах. Очнулся! Проснулся.

– Мы – водой, а ты... Да ну же!

И опять вниз, в норд-ост, гремя и спотыкаясь, в явном сознании, что раз мы – только водой, так эта вода быть – должна.

И на этот раз, взбежав – молниеносное видение Макса, вставшего и с поднятой – воздетой рукой, что-то неслышно и отдельно говорящего в огонь.

Пожар – потух. Дым откуда пришел, туда и ушел. Двумя ведрами и одним кувшином, конечно, затушить нельзя было. Ведь горело подполье! И давно горело, ибо запах, о котором сказала Ася, мы все чувствовали давно, только за радостью приезда, встречи, года, осознать не успели.

Ничего не сгорело: ни любимые картины Богаевского, ни чудеса со всех сторон света, ни египтянка Таиах, не завилась от пламени ни одна страничка тысячетомной библиотеки. Мир, восставленный любовью и волей одного человека, уцелел весь. Хозяин здешних мест, не пожелавший спасти одно и оставить другое, Максимилиан Волошин, и здесь не пожелавший выбрать и не смогший предпочесть, до того он сам был это все, и весь в каждой данной вещи, Максимилиан Волошин сохранил все.

Что наши ведра? Только добрая воля тех, кто знает, что он огня не остановит подъятием руки, что ему руки даны – носить. Только выход энергии: когда горит – не сидеть руки сложа.

Пожар был остановлен – словом.

Самое замечательное в этой примечательной новогодней ночи, что мы с Асей, принеся очередное, уже явно ненужное ведро, внезапно и каменно заснули. Каждая, где стояла. Так потихонечку и сползли. И до того заспались, что, увидев над собой широченную во все лицо улыбку Макса – в эту секунду лицо равнялось улыбке и улыбка – лицу, – невольно зажмурились от него, как от полдневного солнца.

Макс и сказка

Чем глубже я гляжусь в бездонный колодец памяти, тем резче встают мне навстречу два облика Макса: греческого мифа и германской сказки. Гриммовской сказки. Добрый людоед, ручной медведь, домовитый гном и, шире: дремучий лес, которым прирученный медведь идет за девушкой. Макс был не только действующим лицом, но местом действия сказки Гримма. Медведь-Макс за Розочкой и Беляночкой пробирался по зарослям собственных кудрей.

Помню картинку над своей детской кроватью: в лесу, от роста лежащего кажущемся мхом, в мелком и курчавом, как мох, лесу, на боку горы, как на собственном, спит великан. Когда я десять лет спустя встретила Макса, я этого великана и этот лес узнала. Этот лес был Макс, этот великан был Макс. Так, через случайность детской картинки над кроватью, таинственно восстанавливается таинственная принадлежность Макса к германскому миру, моим тем узнаванием в нем Гримма – подтверждается. О германской крови Макса я за всю мою дружбу с ним не думала, теперь, идя назад к истокам его прародин и моего младенчества – я эту кровь в нем знаю и утверждаю.

В его физике не было ничего русского. Даже курчавые волосы (в конце концов не занимать стать: у нас все добрые молодцы и кучера курчавые) за кучерские не сошли. (Свойство русского волоса – податливость, вьются как-то от всего, у Макса же волос был неукротимый.) И такие ледяные голубо-зеленые глаза никогда не сияли под соболиными бровями ни одного доброго молодца. Никому и в голову не приходило наградить его “богатырем”. Богатырь прежде всего тяжесть (равно как великан прежде всего скорость). Тяжесть даже не физическая, а духовная. Физика, ставшая психикой. Великан – шаг, богатырь – вес. Богатырь и по земле ступить не может, потому что провалится, ее, землю, провалит. Богатырю ничего не остается, кроме как сидеть на коне и на печке сиднем. (Один даже от собственной силы, то есть тяжести, ушел в землю, сначала по колено, потом по пояс, а потом совсем.) Сила

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru богатыря есть сила инерции, то есть тяжесть. В Максе ни сидня, ни тяжести, ни богатыря. Он сам был конь! Помню, как на скамейке перед калиткой – я сидела, он стоял – он, читая мне свой стих, кончающийся названием греческих островов, неожиданно: Наксос – прыжок, Делос – прыжок и Микэн – до неба прыжок!

Его веское тело так же не давило землю, как его веская дружба – души друзей. А по скалам он лазил, как самая отчаянная коза. Его широкая ступня в сандалии держалась на уступе скалы только на честном слове доверия к этой скале, единстве с этой скалой.

Еще особенность наших сказок: полное отсутствие уюта: Страшные – скрызь. Макс же в быту был весь уют. И чувство, которое он вызывал даже в минуты гнева, был тот страх с улыбкой, сознание, что хорошо кончится, которое неизменно возбуждают в нас все гриммовские великаны и никогда не возбудит Кашей или другое какое родное чудовище. Ибо гнев Макса – как гнев божества и ребенка – мог неожиданно кончиться смехом-дугой радуги! Гнев же богатыря неизменно кончается ударом по башке, то есть смертью. Макс был сказка с хорошим концом. Про Макса, как про своего сына, – кстати, в детстве они очень похожи, – могу сказать, что:

...славянской скуки –
Ни тени в красоте твоей!
Позднеславянской, то есть интеллигентской.

Физика Макса была широкими воротами в его сущность, физическая обширность – только введением в обширность духовную, физический жар его толстого тела только излучением того светового и теплового очага духа, у которого все грелись, от которого все горели; вся физическая сказочность его – только входом и вводом в тот миф, который был им и которым он был.

Но этим Макс и сказка не исчерпаны. Это действующее лицо и место действия сказки было еще и сказочник: мифотворец. О, сказочник прежде всего. Не сказитель, а слагатель. Отношение его к людям было сплошное мифотворчество, то есть извлечение из человека основы и выведение ее на свет. Усиление основы за счет “условий”, сужденности за счет случайности, судьбы за счет жизни. Героев Гомера мы потому видим, что они гомеричны. Мифотворчество: то, что быть могло и быть должно, обратно чеховщине: тому, что есть, а чего, по мне, вовсе и нет. Усиление основных черт в человеке вплоть до видения – Максом, человеком и нами – только их. Все остальное: мелкое, пришлое, случайное, отmetalось. То есть тот же творческий принцип памяти, о которой, от того же Макса слышала: “La memoire a bon gout” [28], то есть несущественное, то есть девяносто сотых – забывает.

Макс о событиях рассказывал, как народ, а об отдельных людях, как о народах. Точность его живописания для меня всегда была вне сомнения, как несомненна точность всякого эпоса. Ахилл не может быть не таким, иначе он не Ахилл. В каждом из нас живет божественное мерило правды, только перед коей прегрешив человек является лжецом. Мистификаторство, в иных устах, уже начало правды, когда же оно дорастает до мифотворчества, оно – вся правда. Так было у Макса в том же случае Черубины. Что не насытно – лишне. Так и получают боги и герои. Только в Максиных рассказах люди и являлись похожими, более похожими, чем в жизни, где их встречаешь не так и не там, где встречаешь не их, где они просто сами-не-свои и – неузнаваемы. Помню из уст Макса такое слово маленькой девочки. (Девочка впервые была в зверинце и пишет письмо отцу:)

– Видела льва – совсем не похож.

У Макса лев был всегда похож. Кстати, чтобы не забыть. У меня здесь, в Клараме, на столе, на котором пишу, под чернильницей, из которой пишу, тарелка. Столы и чернильницы меняются, тарелка пребывает, вывезла ее в 1913 году из Феодосии и с тех пор не расставалась. В моих руках она стала еще на двадцать лет старше. Тарелка страшно тяжелая, фаянсовая, старинная, английская, с коричневым побелу бордюром из греческих героев и английских полководцев. В центре лицо, даже лик: лев. Собственно, весь лев, но от величины головы тело просто исчезло. Грива, переходящая в бороду, а из-под гривы маленькие белые сверла глаз. Этот лев самый похожий из всех портретов Макса. Этот лев – Макс, весь Макс, более Макс, чем Макс. На этот раз жизнь занялась мифотворчеством.

Один-единственный пример на живой мне. В первый же день приезда в коктебель – о драгоценных камнях его побережья всякий знает – есть даже бухта такая:

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru Сердоликовая, – в первый день приезда в Коктебель я Макс: “М. А., как вы думаете, вы могли бы отгадать, какой мой самый любимый камень на всем побережье?” И уже час спустя, сама о себе слышу: – “Мама! Ты знаешь, что мне заказала М. И.? Найти и принести ей ее любимый камень на всем побережье!” Ну, не лучше ли так и не больше ли я? Я была тот черновик, который Макс мгновенно выправил.

Острый глаз Макса на человека был собирательным стеклом, собирательным – значит зажигательным. Все, что было своего, то есть творческого, в человеке, разгоралось и разрасталось в посильный костер и сад. Ни одного человека Макс – знанием, опытом, дарованием – не задавил. Он, ненасытностью на настоящее, заставлял человека быть самим собой. “Когда мне нужен я – я ухожу, если я к тебе прихожу – значит, мне нужен ты”. Хотела было написать “ненасытность на подлинное”, но тут же вспомнила, даже ушами услышала: “Марина! Никогда не употребляй слово “подлинное”. – “Почему? Потому что похоже на подлое?” – “Оно и есть подлое. Во-первых, не подлинное, а подлинное, подлинная правда, та правда, которая под ливнями, а ливни – те ремни, которые палач вырезает из спины жертвы, добываясь признания, лжепризнания. Подлинная правда – правда застенка”.

Все, чему меня Макс учил, я запомнила навсегда.

Итак, Макс, ненасытностью на настоящее, заставлял человека быть самим собой. Знаю, что для молодых поэтов, со своим, он был незаменим, как и для молодых поэтов – без своего. Помню, в самом начале знакомства, у Алексея Толстого литературный вечер. Читает какой-то титулованный гвардеец: луна, лодка, сирень, девушка... В ответ на это общее место – тяжкое общее молчание. И Макс вкрадчиво, точно голосом ступая по горячему:

“У вас удивительно приятный баритон. Вы – поете?” – “Никак нет”. – “Вам надо петь, вам непременно надо петь”. Клянусь, что ни малейшей иронии в этих словах не было; баритону, действительно, надо петь.

А вот еще рассказ о поэтессе Марии Паппер.

– М. И., к вам еще не приходила Мария Паппер?

– Нет.

– Значит, придет. Она ко всем поэтам ходит: и к Ходасевичу, и к Борису Николаевичу, и к Брюсову.

– А кто это?

– Одна поэтесса. Самое отличительное: огромные, во всякое время года, калоши. Обыкновенные мужские калоши, а из калов на тоненькой шейке, как на спичке, огромные темные глаза, на ниточках, как у лягушки. Она всегда приходит с черного хода, еще до свету, и прямо на кухню. “Что вам угодно, барышня?” – “Я к барину”. – “Барин еще спят”. – “А я подожду”. Семь часов, восемь часов, девять часов. Поэты, как вы знаете, встают поздно. Иногда кухарка, сжалившись: “Может, разбудить барина? Если дело ваше уж очень спешное, а то наш барин иногда только к часу выходят. А то и вовсе не встают”. – “Нет, зачем, мне и так хорошо”. Наконец кухарка, не вытерпев, докладывает: “К вам барышни одни, гимназистки или курсистки, с седьмого часа у меня на кухне сидят, дожидаются”. – “Так чего ж ты, дура, в гостиную не провела?” – “Я было хотела, а оне: мне, мол, и здесь хорошо. Я их и чаем напоила – и сама пила, и им налила, обиды не было”.

Наконец встречаются: “барин” и “барышня”. Глядят: Ходасевич на Марию Паппер, Мария Паппер на Ходасевича. “С кем имею честь?” Мышиный голос, как-то всё на и: “А я – Мария Па-аппер”. – “Чем могу служить?” – “А я стихи-и пи-ишу...”

И, неизвестно откуда, огромный портфель, департаментский. Ходасевич садится к столу, Мария Паппер на диван. Десять часов, одиннадцать часов, двенадцать часов. Мария Паппер читает. Ходасевич слушает. Слушает – как зачарованный! Но где-то внутри – пищевода или души, во всяком случае, в месте, для чесания недостижимом, зуд. Зуд все растет, Мария Паппер все читает. Вдруг, первый зевок, из последних сил прыжок, хватаясь за часы: “Вы меня – извините – я очень занят – меня сейчас ждет издатель – а я – я сейчас жду приятеля”. – “Так я пойду-у, я еще при-иду-у”.

Освобожденный, внезапно поласковевший Ходасевич:

- У вас, конечно, есть данные, но надо больше работать над стихом...
- Я и так все время пи-ишу...
- Надо писать не все время, а надо писать иначе...
- А я могу и иначе... У меня есть... Ходасевич, понимая, что ему грозит:
- Ну конечно, вы еще молоды и успеете... Нет, нет, вы не туда, позвольте я провожу вас с парадного...

Входная дверь защелкнута, хозяин блаженно выхрустывает суставы рук и ног, и вдруг – бурей – пронося над головой обутые руки – из кухни в переднюю – кухарка:

- Ба-арышни! Ба-арышни! Ай, беда-то какая! Калошки забыли! ...Вы знаете, М. И., не всегда так хорошо кончается, иногда ей эти калоши летят вслед... Иногда, особенно если с верхнего этажа, попадают прямо на голову, но на голову или на ноги, Ходасевич или (скромно) со мной тоже было – словом: неделю спустя сидит поэт, пишет сонет... "Барин, а барин?" – "Что тебе?" – "Там к вам одне барышни пришли, с семи часов дожидаются... Мы с ними уже два раза чайку попили... Всю мне свою жизнь рассказали... (Конфузливо.) Писательницы".

* * *

Так некоторых людей Макс возводил в ранг химер. Книжку ее мне Макс принес. Называлась "Парус". Из стихов помню одни:

Во мне кипит, бурлит волна
Горячей крови семитической,
Я вся дрожу, я вся полна
Заветной тайны эстетической.
Иду я вверх, иду я вниз.
Я слышу пенье разнотонное, –
Родной сестрой мне стала рысь,
А братом озеро бездонное.
И еще такое четверостишие:

Я великого, нежданного,
Невозможного прошу,
И одной струей желанного
Вечный мрамор орошу.
* * *

Сказка была у него на всякий случай жизни, сказкой он отвечал на любой вопрос. Вот одна, на какой-то – мой:

Жил-был юноша, царский сын. У него был воспитатель, который, полагая, что все зло в мире от женщины, решил ему не показывать ни одной до его совершеннолетия. ("Ты, конечно, знаешь, Марина, что на Афоне нет ни одного животного женского пола, одни самцы".) И вот в день его шестнадцатилетия воспитатель, взяв его за руку, повел его по залам дворца, где были собраны все чудеса мира. В одной зале – все драгоценные ткани, в другой – все оружие, в третьей – все музыкальные инструменты, в четвертой – все драгоценные ткани, в пятой, шестой (ехидно) – и так до тридцатой – все изречения мудрецов в пергаментных свитках, а в тридцать первой – все редкостные растения и, наконец, в каком-то сотом зале – сидела женщина – "А это что?" – спросил царский сын своего воспитателя. "А это, – ответил воспитатель, – злые демоны, которые губят людей".

Осмотрев весь дворец со всеми его чудесами, к концу седьмого дня воспитатель спросил у юноши: "Так что же тебе, сын мой, из всего виденного больше всего понравилось?"

- А, конечно, те злые демоны, которые губят людей!"

* * *

– Марина! Марина! слушай!

Когда же вырос Гакон,
Ему дал царство БОГ,
Но песни той никак он
Забыть уже не мог:

Шибче, шибче, мальчик мой!
Бианкой конь зовется твой!

Сейчас пытаюсь восстановить: что? откуда? Явно, раз Гакон – норвежское, явно, раз “шибче, шибче, мальчик мой” – колыбельная или скаковая песня мальчику – матери, некоей вдовствующей Бианки – обездоленному Гакону, который все-таки потом добился престола. Начало песенки ушло, нужно думать: о врагах, отнявших престол и отцовского коня, ничего не оставивших, кроме престола и коня материнских колен. Перевод – Макса. Вижу, как сиял. Так сияют только от осуществленного чуда перевода.

А вот еще песенка из какой-то детской книжки Кнебеля:

У Мороза-старика
Дочь – Снегурочка.
Полюбился ей слегка
Мальчик Юрочка...

– Марина, нравится?

– Очень.

– К сожалению, не я написал.

И еще одна, уже совсем умильная, которую пел – мне:

Баю-бай-бай,
Медведёвы детки,
Косо – лапы,
Да лох – маты...
* * *

Все, что могло тогда понравиться мне. Макс мне приволакивал как добычу. В зубах. Как медведь медвежонку. У Макса для всякого возраста был свой облик. Моему, тогда, почти детству он предстал волшебником и медведем, моей, ныне – зрелости или как это называется – он предстает мифотворцем, миротворцем и миротворцем. Всё Макс давал своим друзьям, кроме непрерывности своего присутствия, которое, при несчетности его дружб, уже было бы вездесущим, то есть физической невозможностью. Из сказок, мне помнится. Макс больше всего любил звериные, самые старые, сказки прародины, иносказания – притчи. Но об отдельной любви к сказке можно говорить в случае, когда существует не-сказка. Для Макса не-сказки не было, и он из какой-нибудь лисьей истории так же легко переходил к случаю из собственной жизни, как та же лиса из лесу в нору.

Одним он не был: сказочником письменным. Ни его сказочность, ни сказочничество в его творчестве не перешли. Этого себя, этих двух себя он в своем творчестве – очень большом по охвату – не дал. Будь это я, я бы так на его сказочности не настаивала. Он сам был из сказки, сам был сказка, сама сказка, и, закрепляя этот его облик, я делаю то же, что все собиратели сказок, с той разницей, что собиратели записывают слышанную, я же виденную и совместно с Максом: житую: весие[29].

* * *

На этом французском незаменимом и несуществующем слове (vie vesie – житая жизнь, так у нас не говорят, а прожитая – уже в окончательном прошлом, не передает) остановлюсь, чтобы сказать о Максе и Франции.

Явным источником его творчества в первые годы нашей встречи, бывшие последними до войны, была бесспорно и явно Франция. Уже хотя бы по тем книгам, которые он давал друзьям, той же мне: Казанова или Клодель, Аксель или Консуэла – ни одной, за годы и годы, ни немецкой, ни русской книги никто из его рук не получал. Ни одного рассказа, кроме как из жизни французов – писателей или исторических лиц –

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru никто из его уст тогда не слышал. Ссылка его всегда была на Францию. Оборот головы всегда на Францию. Он так и жил, головой, обернутой на Париж. Париж XIII века или нашего нынешнего, Париж улиц и Париж времен был им равно исхожен. В каждом Париже он был дома, и нигде, кроме Парижа, в тот час своей жизни и той частью своего существа, дома не был. (Не говорю о вечном коктейле, из которого потом разрослось – всё.) Его ношение по Москве и Петербургу, его всеприсутствие и всеместность везде, где читались стихи и встречались умы, было только воссозданием Парижа. Как некоторые из нас, во всяком случае, русские няни, Arc de Triomphe[30] превращают в Триумфальные или даже Триухмальные ворота и Пасси в Арбат, так и Макс в те годы превращал Арбат в Пасси и Москва-реку в Сену. Париж прошлого, Париж нынешний, Париж писателей, Париж бродяг, Париж музеев, Париж рынков, Париж парижан, Париж – калужан (был и тогда такой!), Париж первой о нем письменности и Париж последней песенки Мистенгетт, – весь Париж, со всей его, Парижа, вместимостью, был в него вмещен. (Вмещался ли в него весь Макс?)

Одного, впрочем. Макс в Париже не вместил. Сейчас увидите, чего. “М. А., что вам больше всего нравится в Париже?” Макс, молниеносно: “Эйфелева башня”. – “Неужели?”. – “Да, потому что это единственное место, откуда ее не видеть”. Макс Эйфелеву ненавидел так, как никогда не мог ненавидеть живое лицо. “Знаешь, Марина, какая рифма к Эйфелевой? – И, боясь, что опережу: – Тейфелева!” (То есть чертова.)

У меня нет его первой книги, но помню, что, где ни раскроешь, везде Париж. Редкая страница нас не обдаст Парижем, если не прямым Парижем, то Парижем иносказанным. Первая книга его, на добрую половину, чужестранная. В этом он сходится с большинством довоенных поэтов: Бальмонт – заморье, Брюсов – все истории, кроме русской, ранний Блок – Незнакомка, запад; Золото в лазури Белого – готика и романтика. И, позже: Гумилев – Африка, Кузмин – Франция, даже первая Ахматова, Ахматова первой книжки, если упоминает Россию, то как гостя – из страны Любви, которая в России тоже экзотика. Только иноземность Макса (кроме “экзотики” Ахматовой) была скромнее и сосредоточеннее.

Теперь оговорюсь. Как все предшествующее: о Максе и мире, о Максе и людях, о Максе и мифе – достоверность, то есть безоговорочно, то есть как бы им подписано или даже написано, так последующее – только мои домыслы, непроверяемые только для меня. Справиться, увы, мне не у кого, ибо только ему одному поверила бы больше, чем себе.

Я сказала: явным источником его творчества, но есть источники и скрытые, скрытые родники, под землей идущие долго, всё питающие по дороге и прорывающиеся – в свой час. Этих скрытых родников у Макса было два: Германия, никогда не ставшая явным, и Россия, явным ставшая – и именно в свой час. О физическом родстве Макса с Германией, то есть простой наличности германской крови, я уже сказала. Но было, по мне, и родство духовное, глубокое, даже глубинное, которого – тут-то и начинается опасная и очень ответственная часть моего утверждения – с Францией не было. Да простит мне Макс, если я ошибаюсь, но умолчать не могу.

Возьмем шире: у нас с Францией никогда не было родства. Мы – разные. У нас к Франции была и есть любовь, была, может быть, еще есть, а если сейчас нет, то, может быть, потом опять будет – влюбленность, наше взаимоотношение с Францией – очарование при непонимании, да, не только ее – нас, но и нашем ее, ибо понять другого – значит этим другим хотя бы на час стать. Мы же и на час не можем стать французами. Вся сила очарования, весь исток его – в чуждости.

Расширим подход, подойдем надлично. Мы Франции обязаны многим – обязан был и Макс, мы от этого не отказываемся – не отказываюсь и за Макса, какими-то боками истории мы совпадаем, больше скажу: какие-то бока французской истории мы ощущаем своими боками. И больше своими, чем свои.

Возьмем только последние полтора столетия. Французская революция во всем ее охвате: от Террора и до Тампля (кто за Террор, кто за Тамплъ, но всякий русский во французской революции свою любовь найдет), вся Наполеониада, 48-й год, с русским Рудиным на баррикадах, вся вечерняя жертва Коммуны, даже катастрофа 70-го года.

Vous avez pris l'Alsace et la Lorraine.

Mais notre coeur vous ne l'aurez jamais...[31] –

все это наша родная история, с молоком матери всосанная. Гюго, Дюма, Бальзак,

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Жорж Занд, и многие, и многие – наши родные писатели, не менее, чем им
современные русские. Все это знаю, во всем этом расписываюсь, но –

все это только до известной глубины, то есть все-таки на поверхности, только
ниже которой и начинается наша суть, Франция чуждая.

На поверхности кожи, ниже которой начинается кровь.

Наше родство, наша родня – наш скромный и неказистый сосед Германия, в которую
мы – если когда-то давно ее в лице лучших голов и сердец нашей страны и любили,
– никогда не были влюблены. Как не бываешь влюблен в себя. Дело не в
историческом моменте: “В XVIII веке мы любили Францию, а в первой половине
XIX-го Германию”, дело не в истории, а в до-истории, не в моментах, преходящих,
а в нашей с Германией общей крови, одной прародине, в том вине, о котором
русский поэт Осип Мандельштам, в самый разгар войны:

А я пою вино времен –
Источник речи италийской,
И в колыбели праарийской
Славянский и германский лен.
Гениальная формула нашего с Германией отродясь и навек союза.

Вернемся к Макс. Голословным утверждением его германства, равно как ссылкой
хотя бы на очень сильную вещь: кровь – я и сама не удовлетворюсь. Знаю одно:
германство было. Надо дознаться: в чем. В жизни? На первый взгляд нет. Ни его
живость, ни живопись, ни живописность, ни его – по образу многолюбия:
многодружие, ни быстрота его схождения с людьми, ни весь его внешний темп
германскими не были. Уж скорее бургундец, чем германец. (Кстати, Макс вина,
кроме как под Новый год, в рот не брал: не нужно было!)

Но – начнем с самого простого бытового – аккуратность, даже педантичность
навыков, “это у меня стоит там, а это здесь, и будет стоять”, но – страсть к
утренней работе: функция утренней работы, но культура книги, но культ книжной
собственности, но страсть к солнцу и отвращение к лишним одеждам (Luftbad,
Sonnenbad! [32]), но – его пешеходчество и, мы на пороге больших вещей – его
одиночество: восемь месяцев в году один в коктебеле со своим ревушим морем и
собственными мыслями, – но действительная страсть к природе, вне которой физически
задышался, равенство усидчивости за рабочим столом (своего Аввакума, по его
выражению, переплавил семь раз) и устойчивости на горных подъемах, – Макс не жил
на большой дороге, как русские, он не был ни бродягой, ни, в народном смысле,
странником, ни променёром, он был именно wanderer [33], тем, кто выходит с
определенной целью: взять такую-то гору, и к концу дня, или лета, очищенный и
обогащенный, домой – возвращается. Но – прочность его дружб, без сносу, срок его
дружб, бессрочных, его глубочайшая человеческая верность, тщательность изучения
души другого были явно германские. Друг он был из Страны Друзей, то есть
Германии. Для ясности: при явно французской общительности – германская
качественность дружбы, сразу, как бургундец, но раз навсегда, как германец.
Здесь действительно уместно упомянуть достоверную и легендарную deutsche
Treue [34], верность, к которой ни один народ, кроме германского, не может
приставить присвоительного прилагательного.

Это о жизни бытовой и с людьми, самой явной. Но важнее и неисследимее жизни с
людьми жизнь человека без людей – с миром, с собой, с Богом, жизнь внутри. Тут я
смело утверждаю германство Макса. Глубочайший его пантеизм: всебожественность,
всебожие, всюдубожие, – шедший от него лучами с такой силой, что самого его, а
по соседству и нас с ним, включал в сонм – хотя бы младших богов, – глубочайший,
рожденнейший его пантеизм был явно германским, – прагерманским и гётеянским.
Макс, знал или не знал об этом, был гётеянцем, и здесь, я думаю, мост к его
штейнерианству, самой тайной его области, о которой ничего не знаю, кроме того,
что она в нем была, и была сильнее всего.

Это был – скрытый мистик, то есть истый мистик, тайный ученик тайного учения о
тайном. Мистик – мало скрытый – зарытый. Никогда ни одного слова через порог его
столь щедрых, от избытка сердца глаголящих уст. Из этого заключаю, что он был
посвященный. Эта его сущность, действительно, зарыта вместе с ним. И, может
быть, когда-нибудь там, на коктебельской горе, где он лежит, еще окажется –
неизвестно кем положенная – мантия розенкрейцеров.

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Знаю, что германства я его не доказала, но знаю и почему. Германством в нем были родник его крови и родник его мистики, родники, скрытые из скрытых и тайные из тайных.

Француз культурой, русский душой и словом, германец – духом и кровью.

Так, думаю, никто не будет обижен.

В другой свой дом, Россию, Макс явно вернулся. Этот французский, нерусский поэт начала – стал и останется русским поэтом. Этим мы обязаны русской революции.

Думали, нищие мы, нету у нас ничего...

Действие нашей встречи длилось: 1911 год – 1917 год – шесть лет.

* * *

1917 год. Только что отгремевший Московский Октябрь. Коктебель. Взлохмаченные седины моря. Макс, Пра, я и двое, вчерашнего выпуска, офицеров, только что живыми выпущенных большевиками из Московского Александровского училища, где отбивались до последнего часа. Один из них тот Сережа, который с таким рвением в ту новогоднюю ночь заливал пожар дырявым ведром.

Вот живые записи тех дней:

Москва, 4 ноября 1917 года.

Вечером того же дня уезжаем: С., его друг Гольцев и я, в Крым. Гольцев успевает получить в Кремле свое офицерское жалованье (200 р.). Не забыть этого жеста большевиков.

* * *

Приезд в бешеную снеговую бурю в Коктебель. Седое море. Огромная, почти физическая жгущая радость Макса В. при виде живого Сережи. Огромные белые хлеба.

* * *

Видение Макса на приступочке башни, с Тьером на коленях, жарящего лук. И, пока лук жарится, чтение вслух, С. и мне, завтрашних и послезавтрашних судеб России.

– А теперь, Сережа, будет то-то...

И вкрадчиво, почти радуясь, как добрый колдун детям, картину за картиной – всю русскую революцию на пять лет вперед: террор, гражданская война, расстрелы, заставы, Вандея, озверение, потеря лица, раскрепощенные духи стихий, кровь, кровь, кровь...

* * *

25 ноября 1917 года я выехала в Москву за детьми, с которыми должна была тотчас же вернуться в Коктебель, где решила – жить или умереть, там видно будет, но с Максом и Пра, вблизи от Сережи, который на днях должен был из Коктебеля выехать на Дон.

Адам. Рывдан. Те самые кони. Обнимаемся с Пра.

– Только вы торопитесь, Марина, тотчас же поезжайте, бросайте всё, что там вещи, только тетради и детей, будем с вами зимовать...

– Марина! – Максина нога на подножке рывдана. – Только очень торопись, помни, что теперь будет две страны: Север и Юг.

Это были его последние слова. Ни Макса, ни Пра я уже больше не видала.

* * *

В ноябре 1920 года, тотчас же после разгрома Крыма, я получила письмо от Макса,

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru первое за три года, и первое, что прочла, – была смерть Пра. Восстанавливаю по памяти:

“Такого-то числа умерла от эмфиземы легких мама. Она за последний год очень постарела, но бодрилась и даже иногда по-прежнему напевала свой венгерский марш. Главной ее радостью все эти последние годы был Сережа, в котором она нашла (подчеркнуто) настоящего сына – воина. Очень обрадовало ее и Алино письмо, ходила и всем хвастала – ты ведь знаешь, как она любила хвастать: “Ну и крестница! Всем крестницам крестница! Ты, Макс – поэт, а такого письма не напишешь!”

Описание феодосийского и коктебельского голода, трупов, поедаемых не собаками, а людьми, и дальше, о Пра: “Последние месяцы своей жизни она ела орлов, которых старуха Антонида – ты, наверное, ее помнишь – ловила для нее на Карадаге, накрыв стубкой. Последнее, что она ела, была орлятина”. И дальше:

“О Сереже ты не тревожься. Я знаю, что он жив и будет жив, как знал это с первой минуты все эти годы”.

* * *

11 августа 1932 года я, в лавчонке всякого барахла возле кламарского леса, вижу пять томов Жозефа Бальзамо. Восемь франков, все пять в переплете. Но у меня только два франка, на которые покупаю Жанну д’Арк англичанина Андрию Ланга – кстати (и естественно) лучшую книгу о Жанне д’Арк. И, под бой полдня в мэрии, иду домой, раздираясь между чувством предательства – не вызволила Бальзамо, то есть Макса, то есть собственной молодости – и радости: вызволила из хлама Жанну д’Арк.

Вечером того же дня, в гостях у А. И. Андреевой, я о большевиках и писателях:

– Волошин, например, ведь с их точки зрения – явный контрреволюционер, а дали ему пенсию, 240 рублей в месяц, и, убеждена, без всякой его просьбы.

А. И.:

– Но разве Волошин не умер?

Я, в каком-то ужасе:

– Как умер! Жив и здоров, слава Богу! У него был припадок астмы, но потом он совсем поправился, я отлично знаю.

* * *

16 августа читаю в “Правде”:

11 августа, в 12 часов пополудни скончался в Коктебеле поэт Максимилиан Волошин, – то есть как раз в тот час, когда я в кламарской лавчонке торговала Бальзамо.

А вот строки из письма моей сестры Аси: “Макса похоронили на горе Янычары, высоко – как раз над ней встает солнце. Это продолжение горы Хамелеон, которая падает в море, левый край бухты. Так он хотел, и это исполнили. Он получал пенсию и был окружен заботой. Так профилем в море по один бок и могилой по другой – Макс обнял свой Коктебель”.

А вот строки из письма, полученного о. Сергием Булгаковым: “Месяца за полтора был сильный припадок астмы, такой тяжелый, что после него ждали второго и на благополучный исход не надеялись. Страдал сильно, но поражал кротостью. Завещал похоронить его на самом высоком месте. Самое высокое место там – так называемая Святая гора (моя скобка: там похоронен татарский святой), – на которую подъем очень труден и в одном месте исключительно труден”.

А вот еще строки из письма Екатерины Алексеевны Бальмонт (Москва):

“...Зимой ему было очень плохо, он страшно задыхался. К весне стало еще хуже. Припадки астмы учащались. Летом решили его везти в Ессентуки. Но у него сделался грипп, осложненный эмфиземой легких, от чего он и умер в больших страданиях, Он

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru был очень кроток и терпелив, знал, что умирает. Очень мужественно ждал конца. Вокруг него было много друзей, все по очереди дежурили при нем и все удивлялись ему. Лицо его через день стало замечательно красиво и торжественно. Я себе это очень хорошо представляю. Похоронили его, по его желанию, в скале, которая очертанием так напоминала голову Макса в профиль. Вид оттуда изумительной красоты на море.

Его дом и библиотека им уже давно были отданы Союзу писателей. Оставшиеся бумаги и рукописи разбирают его друзья”.

Ася пишет Янычары, по другим источникам – на Святой горе, по третьим в скале “собственного профиля”... Вот уже начало мифа, и, в конце концов, Макс окажется похороненным на всех горах своего родного Коктебеля. Как бы он этому радовался!

* * *

Макса Волошина в Революцию дам двумя словами: он спасал красных от белых и белых от красных, вернее, красного от белых и белого от красных, то есть человека от своры, одного от всех, побежденного от победителей. Знаю еще, что его стихи “Матрос” ходили в правительственных листовках на обоих фронтах, из чего вывод, что матрос его был не красный матрос и не белый матрос, а морской матрос, черноморский матрос.

И как матрос его – настоящий матрос, так поэт он – настоящий поэт, и человек – настоящий человек, по всем счетам, то есть по единственному счету внутренней необходимости – плативший. За любовь к одиночеству – платившийся восемь месяцами в год одиночества абсолютного, а с 17-го года и всеми двенадцатью, за любовь к совместности – неослабностью внутреннего общения, за любовь к стихам – слушанием их, часами и томами, за любовь к душам – не двухчасовыми, а двадцати и тридцатилетними беседами, кончавшимися только со смертью собеседника, а может быть, не кончившимися вовсе? За любовь к друзьям – делом, то есть всем собой, за любовь к врагам – тем же.

Этого человека чудесно хватило на всё, всё самое обратное, всё взаимно исключающееся, как: отшельничество – общение, радость жизни – подвижничество. Скажу образно: он был тот самый святой, к которому на скалу, которая была им же, прибежал полечить лапу больной кентавр, который был им же, под солнцем, которое было им же.

На одно только его не хватило, вернее, одно только его не захватило: партийность, вещь заведомо не человеческая, не животная и не божественная, уничтожающая в человеке и человека, и животное, и божество.

Не политические убеждения, а мироубежденность, не мировоззрение, а миротворчество. Мифотворчество – миротворчество, и, в последние годы своей жизни и лиры, миротворчество – творение мира заново.

Бытовой факт его пенсии в 240 рублей, пенсии врагов, как бы казалось, врагу – вовсе не бытовой и вовсе не факт, а духовный акт победы над самой идеей вражды, самой идеей зла.

Так, окольными путями мистики, мудрости, дара, и прямым воздействием примера. Макс, которого как-то странно называть христианином, настолько он был всё, еще всё, заставил тех, которые его мнили своим врагом, не только простить врагу, но почтить врага.

Поэтому все, без различия партий, которых он не различал, преклонимся перед тем очагом Добра, который есть его далекая горная могила, а затем, сведя затылок с лопатками, нахмурившись и все же улыбнувшись, взглянем на его любимое полдневное солнце – и вспомним его.

Последнее видение

И ризу ветхую мою

Сушу на солнце под скалою

“...Встретившись с остальными под скалой, мы заговорились и незаметно забрели в восточную часть бухты. Знакомая, давно примелькавшаяся фигура старика, в длинной толстовке, с длинной широкой и белой бородой, в широких простых брюках, в развалившихся допотопных туфлях, вышла навстречу нам из-за поворота дороги,

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru осторожно ощупывая дорогу палкой.

– Это что за мухомор такой? – спросил я шедшего с нами журналиста И. Грозного.

Мне никто не ответил, но “Клара Цеткин” (особа блудная и неразборчивая, охотно принимавшая участие во всех заседаниях Ц. К., что буквально означает “целую крепко”) уже тархтела, обращаясь к старику.

– А, премудрый старец Волошин, наше вам пролетарское, сколько лет, сколько зим!

Грозный цыкнул на нее и оттолкнул, а сам, склонившись над ухом старика, почтительно отрекомендовался:

– Здравствуйте, Максимилиан Максимилианович! Это я, Грозный.

Старик прищурился, сложил руку трубочкой у уха и остановился, держа в другой руке корзинку с... камнями.

Журналист, заметя мое недоумение, раздраженно шепнул:

– Вы не знаете Волошина? Когда-то гремел на всю Россию, поэт...

– Нет, не слышал. Что это они морочат мне голову, что ли? Но старик тем временем продолжал:

– Литературой сейчас не занимаюсь. Не печатают. Говорят, выжил из ума. Рисованием занимаюсь, иногда курортники что-нибудь купят, тем и живу. Да вот камешки собираем.

Вас. Вас. Зевнул с хрустом в челюстях и сказал:

– Поехали! Что с ним разговаривать...

(Перепечатано из “Последних Новостей”).

Москвин: “Хождение по ВУзам”.)

* * *

Милый Макс, тебе было только пятьдесят семь лет, ты же дан старцем, ты был Александрович, тебя дали Максимилиановичем, ты был чуток как лис – тебя дали глухарем, ты был зорек как рысь – тебя дали слепцом, ты был Макс – тебя дали Кузьмичом, ты – вчитайся внимательно – ничего не говорил, тебя заставили “продолжать”, ты до последнего вздоха давал – тебя заставили “продавать”... Не останови автор руки, ты бы вот-вот, наставив ухо щитком, сказал бы:

– Ась?

И все-таки ты похож. Величием.

Говорил или не говорил ты приписываемых тебе слов, так ли говорил то, что говорил, или иначе, смеялся ли ты в последний раз над глупостью, вживаясь в роль выжившего из ума старика, или просто отмахивался от назойливых вторженцев (“э! да что с ними говорить...”)

– рой вихревых видений: Мельник – Юродивый – Морской Дед – Лир – Нерей –

– мистификация или самооборона, последняя игра или в последний раз мифотворчество.

Скала. Из-за скалы – один. На этого одного – все. Меж трех пустынь: морской, земной, небесной – твое последнее перед нами, за нас предстояние, с посохом странника в одной, с уловом радужной игры в другой, с посохом, чтобы нас миновать, с радугой, чтобы нас одарить. И последнее мое о тебе, от тебя, озарение: те сердолики, которые ты так тщательно из груды простых камней, десятилетиями подряд вылавливал, – каждый зная в лицо и каждый любя больше всех, – Макс, разве не то ты, десятилетия подряд, делал с нами, из каждой груды – серой груды простых камней – неизбежно извлекая тот, которому цены нет! И

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
последнее о тебе откровение: лик твоего сердца: сердолик!

Та орава, которая на тебя тогда наскочила, тебе послужила, ибо нашелся в ней один грамотей, который, записав тебя, как мог, неизбежно стал твоим рапсодом.

Седобородый и седогривый как море, с корзиной в руках, в широких штанах, которые так легко могли быть, да и были хламидой – полдень, посох, песок – Макс, это могло быть тогда, было – всегда, будет – всегда.

Так ты, рукой безвестного бытописца (проходимца) [35] еще до воссоединения своего со стихиями, заживо взят в миф.

1932

Примечания

1

Здесь: птенчик (нем.)

2

Четверть груши, чтобы утолить жажду (фр.).

3

Принесли бы вам несчастье! (фр.)

4

Вы что же, так никогда и не спите? (фр.)

5

“Нет, ты только посмотри, как бежит эта дама!” – “Пусть себе бежит, когда-нибудь да остановится!” (фр.)

6

Впоследствии неудачно замененное: “целую кисть, где от браслета” (примеч. М. Цветаевой).

7

Имя автора воспоминаний (примеч. М. Цветаевой).

8

Демон Полудня (фр.).

9

“Орленка” (фр.).

10

А теперь нужно, чтобы твое сиятельство уснуло... (фр.)

11

Душа, для которой смерть была исцелением (фр.).

12

Пусть спит в гробнице своей двойной тюрьмы.

Своего бронзового гроба и мундира (фр.).

13

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
“Дважды любовница” (фр.).

14
Посреди оды Виктора Гюго (фр.).

15
Анри де Ренье, “Встречи господина де Брэо” (фр.).

16
Ниспосланным провидением, провидцем (фр.).

17
Наваждением (фр.).

18
Солдаты, с этих пирамид сорок веков смотрят на вас... (фр.)

19
Нотабене! Вспомнила! Тиц. (5 апреля 1938 года, при окончательной правке пять лет спустя!) (примеч. АС. Цветаевой).

20
Если бы кто-нибудь прошел мимо... Но никто никогда не проходит здесь (фр.).

21
От матушки – веселый нрав и страсть к сочинительству (нем.).

22
Книгой с иллюстрациями (нем.).

23
Что он не ввязывался в ссоры своих друзей (фр.)

24
Над схваткой (фр.)

25
Плохо понятым добром (фр.).

26
Треск (фр.).

27
Я ем все (фр.).

28
У памяти хороший вкус (фр.).

29
Пережитую (фр.).

История одного посвящения. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
30 Триумфальную арку (фр.).

31 Вы захватили Эльзас и Лотарингию,
Но сердец наших не завоюете никогда... (фр.).

32 Воздушная ванна, солнечная ванна (нем.).

33 Путник (нем.).

34 Немецкую верность (нем.).

35 Заменено по требованию В. В. Руднева дабы не обидеть автора записи (примеч. М. Цветаевой).

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://tsvetaevamarina.ru/> Приятного чтения!
<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!